

Алексей Шилов

МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ





Алексей Шилов

мы были первыми



Рисунки А. ГИЛЕВА

ЮЖНО-УРАЛЬСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЧЕЛЯБИНСК . 1971

P2
III 59

7-6-3
60-71

ОБ АВТОРЕ

Алексей Ефремович Шилов много лет учительствовал в деревенской школе. Участвовал в Великой Отечественной войне. На фронте был тяжело контужен.

В 1964 году в Оренбургском издательстве вышла повесть «Федина школа» — первая книга Алексея Ефремовича. Затем в издательстве «Детская литература» была издана повесть «Про нас с Гринькой». Обе эти книжки о жизни деревенских ребят. Повесть «Мы были первыми» — о первых пионерах деревни.



Где и когда родился — не знаю, родителей не помню. Помню себя оборванным, грязным и голодным. Голод — это такая штука, когда есть до смерти охота. И, чтобы не умереть, я воровал, а когда попадался, торговцы били так, что кости трещали.

В последний раз красномордый лавочник, у которого я стащил с прилавка кусок жирной колбасы, наверное, уколошил бы меня, да ладно милиционер скоро подоспел. Обоих нас, да еще человек пять свидетелей, поволок в милицию.

На красномордого составили протокол и пригрозили передать дело в суд, а меня, потолковав между собой, решили отвести на «сборный пункт». Я не знал, что это такое «сборный пункт». Оказалось: большой деревянный дом за высоким дощатым забором, куда собирали всяких нищих сирот, поводырей слепых да беспризорных ребят от восьми до десяти лет. Когда я вошел в калитку, то сразу увидел во дворе на лужайке ватагу ребят. Сперва они мне показались все на одно лицо: острижены наголо, одеты одинаково — в коротенькие штанишки и рубашки-голошейки.

— Хочешь поехать с детской коммуной в село? — спросила меня ласковая тетенька, наверное, здешняя начальница.

Мне надоела собачья жизнь, и я ответил:

— Хочу.

С меня тут же стащили лохмотья, остригли наголо, помыли и тоже нарядили в коротенькие штаны и рубашку с рукавами только до локтей.

Нас набралось ровно пятьдесят огольцов. Одни парнишки. Ростом я оказался самый большой, а сколько мне годов — никто не знал.

Потом всю нашу коммуну погрузили в здоровенный товарный вагон и покатали по железной дороге не зная куда.

На другой день высадили на какой-то станции-замухрышке. Там нас встретил высокий худощавый дяденька с большим кривым носом, которым он то и дело шмыгал, будто у него сильный насморк. Но глаза у дяденьки были добрые, и сам он хороший.

— Ребята, я буду вашим воспитателем. Зовут меня Петр Петрович, а это вот Анна Ивановна, наша стряпуха, прачка. Сейчас мы с вами пойдем в столовую, подкрепимся на дорогу, а потом на крестьянских подводах поедем в село, в бывшую барскую усадьбу. Там мы будем жить, учиться, работать, строить новую жизнь! Понятно?

— Поня-а-атно-о-о!!! — загорланили мы в ответ, что было мочи.

Петр Петрович весело шмыгнул носом и повел нас в столовую.

Ох, и далеко же забилась эта барская усадьба! Целый день мы ехали до нее. А вокруг степь, холмы да курганы. И только кое-где попадались лесочки.

— Вон и наша Глушица завиднелась, — сказал бородатый мужик, когда мы въехали на хребтину продолговатой горы.

С макушки невысокой горы видно было вдали большое село с густыми ветлами вокруг.

Бывшая барская усадьба находилась за селом, на высоком берегу.

Вокруг усадьбы и вдоль крутого берега реки рос большущий парк с фруктовым садом.

От барского имения остались теперь одни рожки да ножки. В революцию мужики все хозяйство растащили, а дом сожгли. Сохранились только парк, хозяйственные пристройки да длинный каменный барак, в котором у барина летом жили сезонные рабочие с поденщиками. В нем остались и кухня, и нары, на которых спали рабочие. Котел с кухни, нары, окна и двери мужики тоже бы давно сперли, но в бараке все время жил сторож-садовник дед Потап со своей старухой. Он караулил сад, парк, и барак с теплыми барскими конюшнями уберег. Вот теперь нам все это и пригодилось.

— В этой половине барака вы будете жить, а в другой половине мы оборудуем класс, поставим парты, стол, повесим доску. Сложим голландку и в классе, и у вас. Мы с Анной Ивановной станем жить в комнате рядом с каморкой деда Потапа,— объяснял нам Петр Петрович,— а в конюшне соорудим мастерскую, в которой вы начнете обучаться ремеслу.

И зажили мы на славу! Утром по звонку деда Потапа вскакивали со своих нар и вперегонки бежали на речку умываться, купаться. Потом пили сладкий чай с хлебом, потом бежали в парк играть.

В полдень по звонку собирались на обед, и Анна Ивановна кормила нас похлебкой или щами. После обеда дед Потап вел нас в сад и учил там «уму-разуму». Как надо ухаживать за фруктовыми деревьями, за крыжовником, смородиной и всякой всячиной.

Немножко мы работали, опять купались, а вечером ели кашу. После ужина дед Потап «на сон грядущий» рассказывал нам какую-нибудь интересную историю.

Одно плохо: озорников в коммуне много было. Разные попрошайки да поводыри — те послушные и смиренные, как ягнятишки. Зато наш брат, воришка-беспризорник, — прямо сорвиголовы! То на деревья вскарабкаются на такую высоту, что бедняга Анна Ивановна начинает за сердце хвататься, а бабушка Агафья крестится да молитвы шепчет «за спасение души сиротки несчастного». То купаться без спросу убегут на широкий омут, и тогда Петр Петрович с расстройства даже носом шмыгать забывает.

Тузят друг дружку часто: сцепятся, как петухи, — никак не разнимешь. Особенно Славка щербатый отличается: меньше всех, а самый что ни на есть атаман!

Петр Петрович назначил меня старшим всей коммуны, потому что я взрослей всех. Ребята меня боятся. Воспитатель их только уговаривает да стыдит, а я могу и по шее надавать — с меня взятки гладки.

Петр Петрович часто отлучался то в село, то в волю. А один раз целую неделю проездил в уездный город. Назад вернулся хмурый и еще чаще стал шмыгать носом.

Я тогда не знал, почему он хмурится, а потом узнал: оказывается, осень уже на пороге, а у нас к ней ничего не готово.

Лето кончилось как-то сразу. Еще вчера была теплынь, и мы купались, а на другой день так «загнуло», что мы все время сидели в бараке. Куда же пойдешь в одних трусишках, если на дворе дождь с холодным ветром?

— Прощай, лето красное,—вздыхнул дед Потап,—осень своего хмурого гонца прислала.

Холодно было на второй и на третий день. И мы приуныли. Тут к нам и приехал строгий уездный начальник в кожанке, с черными усами и в кожаной фуражке.

Он осмотрел все, сердито покрутил усы и пошел с Петром Петровичем к нему в комнату. Дверь осталась неплотно закрытой, и я из коридора услышал их разговор.

— Завел в заблуждение нас тот балабон-инспектор. «Там все готово, заходи и живи!», а на деле — одни ободранные стены. «На вырученные от продажи фруктов деньги можно приобрести все необходимое для детской коммуны»,—сердито дразнил черноусый балабона-инспектора. А фруктов-то нет. Старик говорит: весной цвет морозом хватило.

— Может, все-таки как-нибудь вывернемся? — тихо спросил Петр Петрович и жалобно шмыгнул носом.

— Как же ты «вывернешься»?

— Мастерскую пока не будем открывать.

— И без мастерской «не вывернешься», дорогой мой,—строго сказал черноусый начальник.—Надо четыре печки сложить, двадцать рам сделать и застеклить, нужны парты, двери, столы, классные доски. Нужна баня, иначе детишки завшивеют! А ведь сегодня уже десятое сентября, в школах начались занятия. Детей надо учить. И потом не все же время им в летнем «оперении» быть. Пора потеплее одевать, а одевать-то не во что. В губисполкоме обещали прислать одежду, и до сих пор нет.

— Жалко ребят,—вздыхнул Петр Петрович.

— А мне, думаешь, не жалко?! —пуще прежнего

рассердился начальник,— у меня у самого сердце кровью обливается, но иного выхода нет: детей надо на зиму распределить по крестьянским семьям. Разумеется, лучше, чтобы они попали в бездетные семьи и боже упаси — к кулакам. Они их батрачить заставят. Только к середнякам. Бедняки и батраки сами едва концы с концами сводят. Прокормить лишний рот да еще снарядить ребенка в школу они не в состоянии.

Сельсовет будет рекомендовать вам тех крестьян, которым можно передать ребят на временное житье. Я сам поговорю с председателем. Если мало будет желающих, апеллируйте к их совести! Но я думаю, что все обойдется хорошо. Не такие уж черствые и бездушные русские мужики, чтобы не помочь попавшим в беду детишкам. Это — нам горький урок! А ты нос не вешай. В губернии еще много беспризорных ребят. И детскую коммуну мы здесь обязательно откроем, но сначала все приготовим для нее. Работу начнем с ранней весны. Я сам теперь буду контролировать.

2

Все ребята очень обрадовались, когда узнали, что нас раздадут крестьянам. Прямо как с ума все посходили: кричали ура, кувыркались по нарам, ходили по полу на руках.

Ведь у крестьян можно и на лошади научиться ездить, и с кошкой поиграть, и собаку заиметь, и в поле летом ездить, и чего-чего только нельзя делать.

И вот начали приходить к нам в барак мужики. Сперва зайдут к Петру Петровичу, поговорят с ним, потом выберут из нас, кто приглянется, и уведут. Слыхих маленьких сперва расхватили.

Из других сел и деревень приезжали на лошадях. Брала какие уж остались.

Недели через две в бараке оказались только я да Андришка.

— Никто не возьмет нас с тобой,— вздохнул он.

— Почему не возьмут?

— Я—рябой, а ты—раскосый,— говорит Андришка.

— Сам-то ты раскосый,— обиделся я.

— Нет, я—рябой, а раскосый—ты,— упрямо твердит свое Андришка.— Да еще лоб у тебя больно большой. Только котят бить об него!

Тут дверь отворилась, в барак ввалился борода-тый чернявый мужик с мешком в руках и неожидан-но весело заговорил:

— Здорово, молодцы! Чего не веселы, чего носы повесили? Или стужи испугались? До стужи сто лет — то ли будет, то ли нет.

Он сел к нам на нары, положил мешок на пол и повернулся к Андрию.

— Как звать-то тебя, пострел?

— Да ведь не возьмешь ты меня.

— Почему так?

— Рябой я,— вздохнул Андришка.

Мужик весело хехекнул.

— Рябой—значит дорогой! Ведь каждая рябин-ка стоит полтинку. А у тебя их вон сколько! Славно заживем мы с тобой. А имечко свое скажи мне все-таки.

— Андришкой его зовут,— говорю ему.

— Значит, Андрей? Тогда, парень, держи нос бо-дрей и не падай духом, а падай брюхом! Погляди-ка, милый, что я тебе привез-то.

Мужик полез в мешок и достал из него сапоги.



— Ну-ка, Андрюшок, померь их, враз ли будут? Сам наголавливал.

У Андрюшки глаза загорелись. Он спрыгнул с нар и торопливо начал обуваться.

— Не торопись, сынок. Поспешишь — людей насмешишь. Сперва надень шерстяные чулки, они в сапогах, мать связала, а потом и сапоги примеришь.

Пока Андрюшка пыхтел с чулками, веселый мужик доставал из мешка и приговаривал:

— Вот тебе рубашка, вот тебе штаны, есть у них кармашек с правой стороны. Это вот картуз, это вот кафтан — и станешь ты, как пан!

У Андрюшки и глаза разбежались. Он сбросил сапоги и сцапал картуз, потом стал напяливать на себя кафтанчик, а сам аж дрожит весь от радости и смеется от счастья.

А у меня от зависти слезы на глазах навернулись. Везет же людям!

— А тебя как кличут? — спрашивает мужик.

У меня к горлу комок подкатился, и я имя свое никак не выговорю.

— Петькой его зовут! — во все горло кричит довольный Андрюшка.

— Получай, Петя-петушок, золотой гребешок, гостинец. Хозяйка моя, тетка Матрена, тебе прислала.

Он достал со дна мешка узелок, развязал его и разложил передо мной. В узелке были сдобные кралежки, лепешки, пирожки с морковью.

Не раздумывая, начинаю уписывать гостинец.

Андрюшка в это время надел сапоги и стал выплясывать. Сапоги были ему велики, но он говорит: как раз!

— Так их, так!.. — подбадривал Андрюшку веселый мужик. — Бей, не жалея! Износишь — другие сошьем. Ведь я — сам сапожник и тебя, Андрейка, сапожничать научу. Я на все руки мастер: и шорник, и печник. А кому я передам свое ремесло, ежели у меня нет деток? Вот, коли приглянется тебе у нас, приживешься и станешь ты, Андрейка, моим сынком. По душе придется тебе — зови меня тятей, а не хочешь — зови дядей Ваней, не обижусь.

— Буду звать тятей, тятей! — приплясывал Андрюшка. — Ты хороший, ты мне по душе!..

Дядя Ваня опять весело хехекнул в бороду.

— Не торопись, коза, в лес... Лучше перекуси вот малость на дорожку, а ты, Петя-петушок, не скупись: угощай дружка.

— Пускай ест, жалко, что ли, — говорю не прожевав.

Андрюшка подсел и принялся уплетать за обе щеки.

— Петьку тоже возьмут? — мычит он набитым ртом.

— Вестимо! — отвечает дядя Ваня, расправляя бороду. — Ваши отцы погибли за Советскую власть на гражданской войне, а мы, бывшие бойцы Красной Армии, нешто оставим вас без приюта?

— Ты тоже воевал?! — взвизгнул от радости Андрюшка.

— Было дело, сынок! Столько пороху нюхнул, что и теперь голова болит. Контузию имею, и ранам счет потерял. Об этом обо всем я расскажу тебе дома. А сейчас пойду покалякаю с вашим заведующим Петром Петровичем.

Только мы успели умять с Андрюшкой все гостинцы, и дядя Ваня вернулся, да такой довольный.

— Ну, сынок, попрощайся с Петром Петровичем и пойдем домой. Адресок он нам дал свой. Как только в школе научишься писать, так сразу и настроишь ему письмецо про свое житье-бытье.

Они ушли, и я остался один-одинешенек. Мне сделалось так грустно, так обидно, что хоть караул кричи. И я бы, наверно, развеялся от тоски, но вижу: дверь потихоньку отворилась, и в барак несмело вошла молоденькая тетенька. Испуганно посмотрела

на пустые нары, потом увидала меня, обрадовалась. Подошла ближе, робко села на краешек нар.

Сама она худенькая, носик востренький, а глаза синие-пресиние и большие, будто испугалась чего.

Смотрим друг на дружку и молчим. Я молчал от удивления, что пришла тетенька. До этого к нам только одни мужики приходили, а она — не знаю, отчего молчала. Потом спрашивает меня боязливо:

— Ты пойдешь к нам в детушки жить?

Голосок у нее тихий, и спросила так, будто упрасивала меня пойти к ним в эти самые «детушки». Я готов был пойти жить во что хочешь, только бы не торчать одному на этих проклятых нарах. Да и тетенька мне сразу полюбилась: такая не обругает и уж, конечно, взбучку не станет давать.

— Пойду, — отвечаю.

Она облегченно вздохнула, повеселела. Поправляя на голове белый с синим горошком платок, торопливо заговорила:

— Вот и слава богу... Тебе хорошо у нас будет. Мы



Труня

только двое с самим живем... Хозяйство свое... Одежонку тебе справим, в школу проводим. Звать-то тебя как?

— Петькой. А тебя?

— Меня Груней, а самого Прошей зовут; он в поле сейчас, зябку поднимает, ужю приедет домой ночевать. Ты побудь тут, а я зайду на минутку к вашему набольшему. С глазу на глаз хочет он со мной потолковать. Все тревожится: в добрые ли руки приемыши-то идут.

Она вышла и вскоре вернулась за мной. Потом я

со всеми распрощался. Петр Петрович часто шмыгал носом. Анна Ивановна кончиком платка вытирала слезы. Бабушка Агафья тоже плакала, а дед Потап только молча теребил свою бороду.

И мы ушли. Шли очень быстро, почти бежали. До села было версты две, может, и больше. А на дворе стояла хмурая с холодным ветром погода, и меня в трусиках пробирало до костей.

— Экая непогодь стоит,—говорила Груня, искоса поглядывая на хмарное небо,—в эту пору сроду такого холода у нас не было. Пойдем задами, через переход, тут ближе.



Прошка

Мы свернули в проулок и через огороды по узенькой тропинке пошли к речке. Вслед нам почти от каждой избы зло лаяли собаки, большие и маленькие.

Переход через речку был узкий, в две доски, но на высоких сваях и с перильцами только по одну сторону.

Груня шла впереди и наказывала мне:

— Смотри, не упади, перильца-то ветхие, того и гляди сломаются.

Я шел, не притрагиваясь к шатким перилам. На речке стоял птичий гам. Горланили гуси, крякали утки...

Как только мы вошли с огородов на другую улицу, опять загавкали собаки. Со двора углового дома выбежал пухломордый парнишка, ростом с меня, и начал орать во всю глотку:

— Городская вошь, куда ползешь?! — и тоненьким голоском отвечал: — В деревню кормиться.

— Бесстыдник, чего кричишь? Я вот скажу батюшке-то, — пригрозила шпингалету Груня.

Но парнишка одно свое надсажается:

— Городская вошь, куда ползешь? — В деревню кормиться.

— Ай да попенюк, чего придумал! — смеялся у другого дома высокий конопатый парень с выпученными, как у рака, глазами и большим русым чубом.

— Фомка, глянь: ну и портчишки у этого приютского, — сказал парню попенюк, указывая пальцем на меня, — собакам схватить нечего.

Фомка громко засмеялся, а попенюк начал приплясывать да приговаривать:

— Ай, бесштаный голендяй, голендяй!.. Ай, бесштаный голендяй, голендяй!..



Но тут ко двору вышел сам поп, и попенок сразу притих.

Мы опять свернули в проулок.

— Куда же мы? — спрашиваю Груню. Мне уж надоело петлять по разным переулкам да закоулкам.

— Скоро придем. Наш домик во-он на отшибе стоит, — сказала Груня виноватым голосом, наверно, потому, что избушка их была за огородами, а не на улице, как у всех крестьян.

Но мне понравилось, что я буду жить в стороне от села. Вокруг росли высоченные ветлы, и озерцо под боком. Хибарка была саманная, покрытая почерневшей от давности соломой. К маленьким сенцам приткнут крохотный сарайчик с плетневыми стенами, обмазанными глиной. Дворишко огорожен низким плетнем.

— В хлеву у нас и скотина и топливо на зиму, — пояснила мне Груня, — а сенцы вместо амбара служат. Но на лето мы обязательно амбарушку сложим, — торопливо добавила и потянула меня за руку, — в избу айда скорее, а то заоченеешь! Вон как посинел весь.

Мы вошли в тесные и темные сенцы с малюсеньким оконцем без рамы. Груня торопливо отворила обитую старой дерюгой дверь, и я шагнул через высокий порог в избу.

— Полезай скорее на печку греться, — подтолкнула меня Груня. Большая русская печь стояла рядом и была жарко натоплена. Быстро забрался на печь и лег на старую попону.

Груня куда-то вышла. Я немного отогрелся и стал разглядывать свое новое жилье.

Пол в избе земляной и застлан соломой. Потолок из круглых жердей, обмазан глиной и побелен. В пе-

реднем углу стол без скатерки и две скамейки. Вверху, под самым потолком, божничка с маленькой никудышной иконкой.

В углу, слева от двери, неуклюжая деревянная кровать, а справа — печь, с которой я мог дотянуться рукой до спинки кровати. Перед печью, в простенке, стояла голландка. В этом четвертом углу, между печкой и голландкой, приткнут маленький столик, а на стене над ним приделана полка для посуды. Там что-то вроде «кухни» с одним окном, а здесь «зал» с двумя окнами. У голландки приютился небольшой сундушко.

Было очень тесно, но зато тепло, и поэтому мне казалось, что я попал в рай.

Со двора вернулась Груня.

— Ну, как, согрелся?

— Согрелся.

— Тараканов не боишься?

— А чего их бояться?

— Вот и будешь на печке спать. А теперь слезай, покормлю тебя. Небось, проголодался? — заботливо спросила Груня, сама разделась и сняла с головы платок. Темные волосы у нее гладко причесаны на прямой рядок.

Спрыгнул с печки и сажусь за стол.

Груня испуганно смотрит на меня своими большими синими глазами.

— Чего ты? — спрашиваю ее.

— Чай бы, перекрестился, — робко предлагает она.

— Я не умею.

— Долго ли научиться?

— В коммуне нам не велели молиться, и я не буду учиться, — говорю решительно.

— Ну, как хочешь... Только ладно ли будет так-то?
— Ладно.

Груня положила на стол ломоть ржаного хлеба, деревянную ложку. Потом поставила передо мной глиняную миску постных щей.

— Ешь на здоровье.

Принимаюсь усиленно работать ложкой. Щи мне понравились, и я их все дочиста умял. А Груня сидит рядом, глаз от меня не отрывает и все гладит по голове. Потом в ту же миску из горшка наклала картошки.

— Ешь, на молоке жарила.

Жареная на молоке картошка показалась мне еще слаще, и я тоже всю ее убрал.

От такой еды весь разомлел, меня потянуло ко сну. Едва забрался на печку — сразу уснул, как убитый.

Проснулся вечером, когда на дворе начало смеркаться, а в избушке с тремя маленькими окошечками и вовсе стало темно. Приехал с пахоты хозяин. Груня зажгла висячую керосиновую лампешку.

Прошка был небольшого роста. Все лицо у него заросло густой черной щетиной, густые волосы на голове взъерошены, а черные глаза грустные, грустные. Мне казалось, что он, того и гляди, расплачется. Ни мне, ни Груне он в глаза не смотрел, словно боялся нас. Голос у него тихий, разговаривал он совсем мало, а со мной вовсе ничего не говорил.

— Вот это наш сынок Петя, — сказала мужу Груня, подталкивая меня вперед.

Прошка вздохнул тяжело, молча погладил меня по голове и все.

За ужином Груня опять заговорила про меня:

— Одежонку бы надо Пете справить поскорее.
— Как отпашемся, поеду на базар, куплю,— ответил Прошка и опять тяжело вздохнул.

3

Дня через два Груня сшила мне холщовые рубашку и штаны.

— Когда же он на базар поедет? — спрашиваю ее.

— Теперь уже скоро. Еще две полосы пахать осталось.

Погода на дворе стояла сухая, но холодная, и я почти все время сидел дома. Только кое-когда обувал Грунины коты, надевал Прошкину шапку, которой, наверно, в обед будет сто лет, и выходил ко двору. Груня накидывала мне на плечи дырявый Прошкин кафтан, но в нем я и вовсе был, как пугало огородное. «Ничего,— думаю,— скоро Прошка привезет мне с базара ботинки, пиджак, шапку, и заживу я, как пан».

Но как только Прошка кончил пахать, пошли дожди, дорогу так расквасило — не пройти, не проехать.

— Когда же на базар-то? — пристаю к Груне.

— Потерпи, милый,— уговаривала она меня,— видишь, на дворе все как развезло? Нешто мыслимо ехать в такую слякоть! Теперь, когда подморозит.

А дождь все лил и лил... И вдруг ударил крепкий мороз. Я сразу повеселел. Груня тоже.

Прошка начал ладить телегу: подмазал дегтем колеса, сменил ненадежный тяж, подбил доску и в субботу на ночь поехал на базар.

Под утро неожиданно-негаданно хлопьями повалил снег.

— Батюшки, батюшки мои,— испуганно металась по избе Груня,— буран-то какой поднялся — света воль-

ного не видать!.. Как бы беда с Прошей не случилась.

— Да не заблудится, ведь он с мужиками поехал,— уговариваю ее.

— Я не про то,— отмахнулась она.

— А про что же?

Груня не ответила. Она уставилась на икону и шептала молитву, усердно крестилась:

— Господи, спаси и помилуй... Отведи, господи, беду от раба твоего грешного Прокофия ради отрока бедного, сироты несчастной...

Весь день она ничего не ела. То выбежит во двор посмотреть, не унялась ли метель, не едет ли Прошенька, то опять молиться начнет да причитания разные бормотать.

После обеда пурга стихла, а вечером Прошка заявился пьянехонек и с пустыми руками.

Груня распрягла лошадь, потом пришла в избу, встала у печки и уставилась большими-пребольшими глазами на Прошку.

Пьяный, тот разговорился вовсю, откуда чего взялось: и голос стал грозный, и глаза смотрят прямо на нас, и слов разных, хоть отбавляй.

Он сидел на лавке у стола, раскинув широко ноги.

— Петька, поди сюда! — позвал строго.

— Зачем он тебе понадобился? — вступилась Груня.

— Не твоего ума дело, дура-баба. Знай, сверчок, свой шесток! — прицекнул на жену Прошка.— А ты не бойся, не съем.

Я подошел к нему.

— Ну, чего сбывился? Я кто тебе? Тя-тя. Уразумел? Ты, стервец, должен меня почитать, ублажать... Я тебя, шпингалета, кормлю, пою, одеваю, обувую...

— Где она, твоя обувка?! — озлился я.— Босый хожу!..

— Ишь, ишь, какой шустрый стал! А зачем тебе обувка? На печке и разумши гоже сидеть.

— В школу надо ходить.

Прошка икнул, усмехнулся.

— Чего ты в школе не видал? Или тебе больно охота линейкой по заправку получать?

— При Советской власти в школе не бьют.

— Ха-а-а! Видала, видала, какой грамотей выискался? И про Советскую власть знает, и законы все ему известны!.. А где она, твоя Советская власть, где-е-е?! Не дошла она до нас. Мы живем у черта на куличках. И название селу: Глу-ши-ца-а. Уразумел? Глушь непросветная!.. Богатей Тарас Нилыч у нас власть. Чего хочет, то и делает. Он души у бедноты покупает!.. А нешто можно у людей души забирать? Нет, ты скажи мне, грамотей, скажи!..— больно дернул меня за руку Прошка.

— Чего ты пристал к парнишке?! — метнулась от печки испуганная насмерть Груня.

— Цыц, баба! — Прошка поднялся с лавки и сильно толкнул жену в грудь. Она стукнулась спиной о голландку.

Я схватил с кухонного столика первое, что попало под руку, и замахнулся на Прошку.

— Не тронь маму, забулдыга!.. Голову разобью!

Прошка сразу съежился, растопырил передо мной пальцы и жалобно застонал.

— Вай, вай!..

Потом быстро закрыл лицо руками, упал на лавку и громко, с привизгом, заплакал.

Груня бросилась к нему.

— Прошенька, что с тобой? Милый мой, ну не плачь, не плачь...



Она села рядом с ним, прижала к себе его взломаченную голову, а он, как маленький, уткнулся ей в грудь лицом и все всхлипывал, всхлипывал.

Тут я увидел, что в руке у меня здоровенная скалка. Я бросил ее на стол и полез на печку.

— Ложись, усни, и все пройдет,— уговаривала Груня мужа и ласково гладила его по голове. Потом стащила с него сапоги, уложила на кровать и укрыла деkjюгой.

Сама села рядом, немножко побаюкала рукой, и он уснул. После этого Груня залезла ко мне на печку.

— Зачем же ты со скалкой на отца-то полез? — спросила с упреком.— Не гоже на старших кидаться.

— А он зачем тебя бьет?

— Да он и не бил. Толкнул легонько — только и всего. Другие мужики нешто так бьют своих баб под пьяную-то руку!

— Уйду я от вас.

Груня тихонько вскрикнула.

— Как уйдешь? Куда уйдешь?!

— Куда глаза глядят.

— Миленький, опомнись!.. А как же я буду без тебя? Ведь меня тоска заглохнет...— она закрыла лицо руками и заплакала.

Мне стало до слез жалко Груню, и я решил остаться у них.

— А чего он такой пьяница?

Груня, всхлипывая, вытирая ладонями глаза, быстро заговорила:

— Не пьяница он вовсе... В рот ее не брал... Послушай-ка, что я тебе расскажу. Оба мы с ним сироты, с малых лет у чужих людей животы надрывали. У него и отец всю жизнь на Тараса Нилыча спину гнул, а мой батюшка в германскую войну погиб, матушка в голод-

ный год умерла. Мы с ним обвенчались в двадцать втором году. У меня хоть вот эта хибарка была, а у него ни кола, ни двора. При Советской власти стали и бедноте землю нарезать, а что проку в земле-то, если ее нечем обрабатывать? И порешили мы с ним своим хозяйством обзавестись. Уж больно горька она, бедность-то. До пьянки ли ему было, когда только и думы, как бы лишнюю копейку заработать. Сперва курочками обзавелись, потом ягненокка купили, а через год и теленокка во двор привели. Но без лошади все одно землю не обработаешь. Скребками только под огород взроешь, а на лошадь, ой, как много надо денег копить! Может, и до сей поры мы были бы безлошадными, да спасибо Тарас Нилыч меринка нам прошлым летом в рассрочку продал. Тут уж мы вольно вздохнули. А зимой возьми и случись беда.

— Какая?

— Вот слушай. Как-то раз после крещения так завьюжило, что не приведи бог никому доброму в такой буран быть в дороге. В тот день у нас большевик пропал.

— Куда пропал?

— Никто, милый, не знает. Поехал за товаром для казенной лавки да и не вернулся. Лошадь пришла, а его нет. Заплутался, должно быть, и замерз где-нибудь. А Проша-то в ту пору на ту сторону ходил. Назад шел через огороды — да и сбился с пути. Допоздна проплутал. Вечером пришел домой — лица на нем нет, испугался шибко. Легли спать, а его так и бьет всего. С той поры у него и началось. Как поднимется метель, он места себе не находит. А один раз взял да и напился до беспамятства. Потом все лето капли в рот не брал, думала: прошло с ним. Ан, вот опять приключилось и в то самое время, когда тебе за одежкой

поехал. Теперь мы без копейки остались, не на что тебя одеть.

Она опять заплакала.

— Не плачь: проживу зиму без одежды. Ведь, не на холоде — в тепле. Мне только в школу очень хочется.

— Пойдешь, на лето обязательно пойдешь, — сказала Груня, вытирая слезы и шмыгая носом, — у нас учитель не принимает маленьких в школу, они-де бес-толковые, пусть станут посмышленнее. В первый класс берет, кому сравняется девять, а то и десять годков, а тебе не больше одиннадцати. Давай на Рождество именины справим. Будем считать, что тебе исполнится одиннадцать годков, двенадцатый наступит. А то как же без дня рождения?

Я согласился: одиннадцать — так одиннадцать.

Ведь у всех есть день рождения, а я что, хуже других?

— Когда Рождество-то будет?

— Скоро.

— А тебе сколько лет?

Груня зарумянилась, застеснялась, улыбнулась. Потом вздохнула:

— Я уже скоро старухой стану. Мне десятого августа двадцать семь годиков сравнялось.

— Ну, уж и старуха!..

Груня тихонько засмеялась.

— Глупенький, спи.

— А ему сколько лет?

— Проше в марте будет ровно тридцать. Ну, закрывай глаза, сейчас огонь тушить буду.

Она слезла с печки, подошла к столу и сильно дунула в решетку лампешки. В избе все сразу почернело.

Прошла целая неделя. За это время Прошка не сказал мне ни слова. Он опять стал молчаливый.

В воскресенье Груня ушла в церковь, и мы остались одни.

Я, свесив голову с печки, смотрел, как кошка подкарауливает мышь. Прошка, убрав скотину, вошел в избу. Разделся, потоптался у порога, потом тихо спросил меня:

— Хочешь, я тебе жужжалку сделаю?

Я очень обрадовался.

— Конечно, хочу! Сделай, пожалуйста.

— Подай мне щепку.

Я взял сухую щепку, слез с печки.

Прошка сел на лавку и принялся ножом стругать щепку, а я стоял рядом и смотрел.

— Достань за трубой в ящике шило и клубочек ниток суровых.

Быстро подаю ему шило с нитками.

Он осторожно, чтобы щепка не треснула, проколол в ней шилом две дырки. Потом оторвал от клубка нитку, длиной с аршин, продел в дырки концы, связал их. После этого передвинул щепочку на середину, а нитку нацепил на указательные пальцы, помахал перед собой, чтобы нитка закрутилась в одну сторону, и потихоньку стал натягивать ее. Щепка быстро закружилась то в одну сторону, то в другую и запела: ж-ж-ж... ж-ж-ж...

— Я, дай я попробую! — закричал от нетерпения.

— Так, ведь, тебе и сделал, — улыбнулся он.

Я быстро надел нитку на пальцы, замахал в одну сторону, а потом плавно начал растягивать. Жужжалка запела. Тут вошла румяная с мороза Груня.

— Мама, гляди, мне тятя жужжалку сделал! — крикнул я. Потом я видел, как она за голландкой украдкой смахивала слезу. С этого дня жизнь у нас пошла веселее. Отец мастерил мне игрушки, учил плести разные корзинки, лукошки, которые у него здорово получались. И только иногда он вздыхал:

— Кабы не та беда, славно бы мы с тобой зажили, Петруша!

— Мы и так славно живем! — говорю ему.

Он, опять вздыхая, молча гладил меня по голове.

А когда на дворе поднималась метель, отец не находил себе места.

— Воет, опять воет!.. Как из прорвы дует, сатана!..

— Не замай ее. Метет, на то и зима,—говорила мать.

— Тебе не замай, а у меня она душу наизнанку выворачивает, окайная!

Я старался его как-нибудь развеселить: рассказывал ему про свою беспризорную жизнь, играл с ним в щелчки.

Потом буря утихала, отец успокаивался, и мы опять по вечерам начинали плести кузовочки, шаболы-поварешки, которыми достают вареные яйца, пельмени, галушки.

Как-то раз в сильный мороз, когда я был один дома, к нам пришел дядя Ваня.

Борода и усы у него так заиндевели, что я сперва не угадал его. Зато он сразу узнал меня.

— Здорово, Петя-петушок, золотой гребешок! Вот ты где себе насест устроил. Знатно! Там тебя никакой мороз не проймет. А где же хозяева?

— Ушли в село по своим делам.

— А ты домовничаешь? Ну, что же, оно к лучшему. Покалякаем с тобой по душам, без помех,—все это

он сказал, стоя у порога, а я сидел на печке.— А что же ты не приглашаешь меня сесть, али не рад, что я пришел?

— Рад, дядя Ваня! Садись вон на лавку.

— Благодарствую.

Он сел на лавку. Снял шапку, рукавицы, положил их рядом. Потом начал сосульки с усов сдирать.

— Звенят треклятые, как бубенцы на борзой тройке,— добродушно сказал он.— Ну, Петя-петушок, перво-наперво передаю тебе низкий поклон от Андрейки. В таком разе, Петя, полагается говорить «спасибо»,— подсказал мне.

— Спасибо, дядя Ваня!

— Мы с ним ума не приложим: куда ты запропастился?! В школе, говорят, тебя нет, на селе не видно. Не иначе, думаю, в другую деревню увезли. А намерены в сельсовете председатель надоумил меня: «Сходи, говорит, на отруб к Прошке Хлебнову, у них парнишка из приюта живет, может, он». Ан, ты и есть! Ну, как поживаешь?

— Живем помаленьку.

— А в школу почему не ходишь?

Я молчал.

— Та-ак... Значит, сор из избы выносить не хочешь? Дело твое. Только, Петя, нам с тобой в прятки играть не пристало. Мне говори все без утайки. Я к тебе с добром пришел. Ежели тебе тут не по душе, али обижают тебя—скажи, в другой дом возьмут. У меня сосед-столяр—золотые руки! Живет в достатке. Не пьет, не курит и душой добрый. Баба у него—тоже сердечный человек. Он летом на отходе работал, а когда вернулся—ребят-то в коммуне всех уж разобрали. Ой, как он тужил! Может, пойдешь к нему?

— Нет, дядя Ваня, никуда я отсюда не пойду. Тятя с мамой хорошие, меня не обижают. А в школу не хожу, потому что беда у нас маленькая случилась. Теперь на лето в школу пойду.

— Ну, и ладно. На том и порешим. В это воскресенье, ежели погода не испортится, Андрюшу к тебе на провод пришлю. Мы с ним в Оторвановке живем, далеконоько до вас. У нас в Глушице улицы, словно бурей, разметало в разные стороны: одна там, другая здесь. Вашу избушку на зады отбросило, а наша Оторвановка и вовсе за версту от села очутилась. А знаешь, что я подумал, Петушок? — весело подморгнул он мне.

— Что? — засмеялся я.

— Скажи своему тате, чтобы он тебе раздобыл букварь, тетрадку с карандашом. Андрюшок станет по праздникам ходить к тебе да буквы показывать. Ежели будешь стараться, весь букварь за зиму пройдешь, то на лето тебя сразу во вторые посадят.

— Ой, дядя Ваня, вот здорово ты придумал!..

— Еще бы! С моей головой только державой править.

Он посидел еще немного, поговорил, потом собрался уходить.

— Ну, бывай здоров, Петушок.

— До свидания, дядя Ваня. Приходи еще к нам!

— Непременно приду твою науку проверять.

Он нахлобучил шапку, надел рукавицы и ушел.

На другой день мама принесла мне из кооперации новенький букварь, тетрадок в клетку и в косую линейку, карандаш, ручку с пером, резинку.

Не дожидаясь, когда придет Андрюшка, я начал разглядывать букварь. На первой страничке нарисована картинка: девочка стоит в лесу и кричит «а-у!».



Значит, первая буква «а», вторая «у» — догадываюсь быстро.

Рядом эти буквы стоят задом наперед: «у-а».

— Мама! Я читать умею. Слушай: а-у, у-а.

— Сам научился? — всплеснула она руками.

— Сам.

— Теперь садись, пиши эти буквы. Может, самоучкой букварь осилишь. Ты, видать, смысленный у нас.

Я взял карандаш и начал с букваря срисовывать в тетрадку сперва строчку письменную букву «а», потом «у». Получилось очень похоже.

Пришел со двора отец.

— Проша, посмотри, как хорошо наш сынок пишет!

Он подошел к столу.

— Молодец! Точь-в-точь буквы выходят. Название-то их знаешь?

— Знаю. Эта «а», эта «у», вместе «ау», наоборот «уа».

— Ну, ну, давай, старайся. Может, одолеешь грамоту.

И я начал стараться. Каждый день узнавал новую букву. Нарисован жук, а рядом буква — значит «ж». Нарисована кошка, стало быть, буква под ней «к». Я писал их в тетрадь, писал слова с новыми буквами.

С арифметикой дело у меня пошло еще быстрее. Считать я умел хоть до тысячи. Отнимать, прибавлять в уме мог. Цифр оказалось всего девять штук, десятый нуль. Писать цифры было много легче, чем буквы, и получались они у меня красиво, чисто.

В воскресенье на улице был сильный мороз с ветром. Андрюшка так и не пришел ко мне. Я учился сам. С утра до вечера сидел за букварем: читал, писал, рисовал, считал, решал.

Когда Андрюшка пришел к нам, я уже больше половины букваря знал наизусть.

На Андрюшке были новенькие валенки, шубка, шапка и рукавички. Но я не стал ему вслух завидовать, чтобы маму с тятьей не обидеть.

Он разделся и сказал мне:

— Полезем на печку, я немножко погреюсь.

Когда мы забрались на печь, он взял букварь, важно сказал:

— Сейчас я начну тебя обучать грамоте. Вот смотри: девчонка пошла за грибами, заплуталась в лесу и начала орать...

— Да это я уже знаю: а-у, у-а... И это все знаю. Вот я где остановился.

Андрюшка глаза вытаращил.

— Да ты сам семерых научишь! Как же ты сумел?

— Смотрю на картинку и догадываюсь, какая первая буква.

— А мне плохо грамота дается,— вздохнул Андрюшка,— ладно тятя дома меня все муштрует, а то бы пропал совсем.

— В школе бьют вас?

— Кое-кому влетает линейкой по башке.

— А тебе?

Андрюшка почесал в затылке, вздохнул.

— И мне влетает.

— Ты отцу говорил?

— Говорил.

— А он чего?

— Говорит: они — старорежимные учителя, а советских еще не успели наделать. И еще говорит: учись хорошенько да не балуйся, тогда учительница тебя пальцем не тронет. Вот ежели бы ты в школу ходил, учительница бы тебя не тронула. Она любит, кто хорошо учится.

— Много их, учителей-то?

— Двое. Старик со старухой. Она учит первых — третьих, он — вторых — четвертых. А задачки решать умеешь? — вяло спросил Андрюшка. Его начало клонить ко сну.

— Умею. Вот смотри: два крестик три две черточки пять.

— Про крестик говорят «прибавить», а две черточки означает — получилось.

— Понятно! Три прибавить четыре получилось семь,— радостно выкрикнул я.

— Во-во... А ежели одна черточка — говорят отнять. Две точки — разделить, а косой крестик — умно-

жить. Вот эту штуку на тетрадной корке называют таблица умножения. Дважды два — четыре. Дважды три — шесть. Ее всю надо знать назубок. Третий класс, эх, и гоняют по этой табличке, им аж жарко делается. Кто не знает табличку, того без обеда оставляют. Мне за эту проклятую табличку не миновать каждый день без обеда в школе торчать. Зачем только придумали это ученье? — зевнул Андрюшка и начал клевать носом.

— Ну-ка, я попробую выучить эту самую таблицу умножения.

— Валяй, а я посплю маленько, — ответил Андрюшка, укладываясь поудобнее, — на печке больно спать хорошо.

— Ты тоже на печке спишь? — спрашиваю его.

— Нет, я на кровати. На печке у нас хворающая старуха лежит. Мне и погреться негде.

Он тут же засопел, а я взялся учить таблицу. И ничего в ней страшного нет. Пока Андрюшка спал, я успел выучить два столбика на два и на три.

Андрюшка бы, наверно, долго проспал, но мама сказала мне:

— Петя, разбуди дружка-то, скоро смеркаться начнет, а ему далеко идти.

Я насили растормошил его. Он собрался и ушел домой.

Всю таблицу я выучил за неделю, а букварь через месяц от корки до корки знал назубок.

Мама не могла на меня нарадоваться.

— Это что за умный парнишка растет! — хвалилась она своей куме, которая пришла к нам. — Другие ребята в школе за целый год с грехом пополам букварь одолевают, а он сам за месяц всю азбуку выучил и таблицу вызубрил. Не иначе — ученый будет. Да вот

беда, заняться ему теперь нечем, а до весны еще далеко.

— Ты сходи к учителю, потолкуй с ним: так, мол, и так. Глядишь, он даст тебе какую ни на есть книжонку, парнишка и будет читать, коли охоч до учения,— посоветовала смекалистая кума.

— И то правда,— обрадовалась мама,— схожу. Уж больно сынок любит книжку, да все нам с отцом вслух читает.

Вечером она принесла мне от учителя книжку «Новая деревня» для второго класса. Я сразу же уткнулся в нее. Сперва прочитал рассказ про себя, потом вслух отцу с матерью, а после начал писать.

Андрюшка опять пришел к нам. Послушал, как я читаю, и говорит мне:

— Ты теперь больше меня знаешь. Учить тебя нечего. Лучше я маленько посплю.

Он тут же залез на печку и завалился спать.

Мама говорит мне:

— Пока он спит, ты надень его валенки, шубу с шапкой, мы сходим с тобой к учительнице; тут через лед недалеко. Она намеренно велела мне привести тебя.

Я быстро оделся, забрал книжку, исписанные тетрадки, и мы отправились.

Школа стояла на площади по ту сторону речки. В одной половине были два класса с длинными партами, стоячими черными досками, в другой половине жили учителя.

К нам вышла учительница, высокая, тонкая, с седыми волосами и строгими глазами.

Мама низко поклонилась ей, робко сказала:

— Мы к вашей милости...

— Помню, помню,— громко перебила ее учитель-

ница.— Сейчас я проверю вашего сына. Как тебя звать, мальчик? — строго посмотрела она на меня.

— Петькой,— буркнул я.

— Не Петькой, а Петей,— поправила меня учительница. Затем взяла у меня из рук книгу, открыла на середине, куда я еще не добрался, сказала:

— Читай вслух.

Я хоть не очень быстро, но без запинки начал читать.

— А теперь расскажи, о чем ты прочитал,— приказала мне учительница, а сама начала листать мою тетрадь.

— Изумительный почерк,— бормотала она чуть слышно, пока я рассказывал прочитанное.

— Александр Дмитриевич, иди сюда! — громко позвала учительница.

Вошел толстый лысый старик в очках, с седыми усами, в черном жилете на белой рубашке.

Мама и ему низко поклонилась. Он тоже мотнул головой.

— Посмотри, какая бесподобная каллиграфия у этого мальчика, причем, ни единой орфографической ошибки. Но самое поразительное, что он самостоятельно научился читать и писать. Это просто какой-то феномен!

— Так, так,— сказал учитель, перелистывая тетрадь.

— Он и рихметику знает,— не утерпела, похвалилась мама.

— А что же ты знаешь по арифметике? — спросил меня учитель.

— Табличку знаю, складывать, вычитать, умножать и делить умею.

Учитель тут же начал спрашивать меня таблицу умножения. Я отвечал без запинки. Потом он стал за-

давать мне устно примеры на все четыре действия. Сперва легкие, потом все труднее и труднее. Решил и примеры.

— Н-да-с,— пошевелил седыми усами учитель,— весьма способный... И что же это, голубушка, вы такого одаренного мальчика от школы оторвали?! — сердито покосился учитель на маму.— Ведь из него может второй Ломоносов получиться!

Мама часто заморгала своими большими синими глазами. По ее худеньким щекам покатились слезы.

— Сам-то поехал, было, на базар за одежкой ему, да...

Я дернул ее за полу. Пусть учителя не знают, что отец пропил деньги.

Мама замолчала, вытирая кончиком платка слезы. Учитель видал, как я дернул ее за полу шубенки.

— Н-да-с,— задумчиво сказал он,— тут, разумеется, и возраст его играет большую роль. Ведь ему уже пора учиться в четвертом классе. Но способности у него тоже большие, весьма большие! Если ты и дальше будешь дома так же прилежно заниматься, то будущей осенью мы тебя посадим сразу в третий, а может быть, даже в четвертый класс,— сказал он мне.— А вы, голубушка, будьте добры за лето обеспечить его одеждой, обувью! — повысил учитель голос на маму.— Куда это годится?! Берете ребенка на воспитание, а сами не можете его в школу снарядить.

Учительница дала мне грамматику, задачник. Рассказала, как надо самому заниматься.

Когда мы вернулись домой, Андрюшка все еще спал. Пришлось мне будить его.

Одеваясь, он громко сопел со сна, потом спокойно сказал:

— Сейчас меня вздуют.



— Кто?

— Сельские ребяташки. Они не любят нас. Как увидят, кричат: «Бей приютских!» — и давай бока мять. Сюда шел — на меня попенок со своей оравой набросились. Ладно дяденька один заступился. Тогда они вдогонку мне начали горланить: «Эй, приятник гололобый, не ходи нашей дорогой! Ходи барской да татарской!» Хотя мы теперь и не живем в барской усадьбе, и бритые головы у нас давно уж обросли, а они все одно: «гололобый», «барской»... Ежели никто не

заступится, то теперь они меня, как пить дать, отбуздыкают.

Отец пошел провожать его. Больше Андрюшка к нам не приходил.

5

Ох, и злилась зима под конец. Уже больно неохота ей было уходить. Целую неделю выла в трубе, свистала под окном, стучала сенной дверью.

Отец прямо измучился весь, похудел. Он то начнет ходить по избе, то на дверь устоит, будто ждет кого. А когда выюга чересчур жалобно застонет, он схватится за голову руками и упадет на кровать вниз лицом.

Ночью ветер сразу утих. На другой день ярко засветило солнышко. Потом с крыши весело зазвенела капель, дружно начал таять снег, зажурчали ручейки.

Через неделю бугор перед нашей избой уже просох, по нему важно прохаживался исхудавший за зиму грач.

Мне надоело сидеть дома. На дворе было так хорошо! Ласково грело солнышко, весело чирикали птички, от земли шел теплый пар.

Отца с матерью дома не было, и я решил немножко побегать по бугорку. Выскочил разутый, раздетый, без шапки на улицу и ну бегать по бугру! Прыгал, вертелся волчком, приседал, становился на руки... Смеялся, кричал, пел!..

— Весна-красна!.. Хо-хо-о-о-о!.. Птички-певички! Ха-ха-а-а-а!..

В избу вернулся, когда совсем утомился. Потом мне что-то стало зябко. Я залез на печку.

К вечеру у меня разболелась голова.

— Петя, айда ужинать,— зовет мама.

— Не хочу.

— Как это не хочешь? — удивился отец.— Ну-ка, слезай скорее, мать тыкву напарила, ты любишь ее.

— У меня голова болит.

— С чего бы это? Уж не угорел ли ты? — забеспокоилась мама.

— Нет, я разутый на улицу бегал.

— Батюшки-светы, да ведь ты простудился!..

Она приложила свою ладонь к моему лбу.

— Голова-то горит вся, как в огне!.. То-то у меня под вечер сердце все ныло. Чуяло беду. Проша, сходи к Варваре-знахарке, может, питья какого даст. Как бы не расхворался наш Петенька. Господи, спаси и помилуй его.

Но господь не помиловал меня, я тяжело заболел.

Ночью у меня начался жар. Я метался, стонал, просил пить, а что дальше было — ничего не помню...

Три дня я был в бреду. Мама день и ночь не отходила от меня. Плакала, молилась. Знахаркино питье не помогало, и тятя поехал верхом в волость к фельдшеру. Было половодье. Овраги и реки вышли из берегов, но тятя все-таки привез мне лекарства. Как он доехал, никто не знает. Это мне все потом мама рассказала. Сам я только на четвертый день пришел в себя. Жар спал, но я очень ослаб, еще целую неделю не вставал.

— Ну, и напугал ты нас с матерью,— вздыхал тятя и гладил меня шершавой ладонью по лицу.— Завтра я уеду в поле с ночевкой, сев начинается. А ты поправляйся скорее.

Когда я слез с печки и посмотрел в окно, на улице уже зеленела травка, на деревьях распустились листочки.

— Миленкий, похудел-то как,— качала головой мама. На глазах у нее навернулись слезы,— теперь ешь больше. Отец наказывал тебя сливками поить, яйцами да молоком кормить.

Сперва я ел мало, неохотно, но день ото дня мне становилось все лучше, я стал выходить во двор, начал уписывать все, что мама подавала на стол. И вскоре совсем поправился.

На улице стояла теплынь, вокруг все цвело. Я опять взялся за учебу. В избе только писал да задачки решал, а читал и правила учил на воле.

Как-то раз мама сказала мне:

— Сынок, сходи за гумно, там наш теленочек привязан. Посмотри, не запутался ли.

Гумна были от нас недалеко, по ту сторону озера.

Я отложил книжку и побежал. За гумнами на лугу паслось много телят на приколе. Наш черный теленок щипал зеленую травку. Он узнал меня, протяжно заревел. Я погладил его и отправился обратно. Когда шел через чье-то гумно, на меня из риги налетел пухлощекий попенок с двумя дружками.

— Бей приютских! — истошно завопил он.

Давать тягу было поздно. Они окружили меня со всех сторон, видать — подкарауливали.

Драться я и один на один не больно мастер, а тут сразу три лба накиннулись. Вмиг смяли меня. Но, слышу, раздался другой клич:

— Бей толстопузиков!

Моих обидчиков, как ветром, сдуло. Когда я поднялся на ноги, у них только пятки сверкали, а за ними гнался всего лишь один парнишка. Потом он бросил преследование, подбежал ко мне: такой крепкий, скуластый, с черными, как угольки, глазами и смоляными прядями, которые выбились из-под картуза.

После бега ноздри у него широко раздувались.

— Ты чей? — строго спросил он меня, нахмутив брови. Голос у него был грубый.

— Хлебнов.

— Из приюта?

— Да.

— Это у тебя голова здорово варит?

— А ты откуда знаешь?

— Нам в школе учительница говорила. Хочет тебя сразу в четвертые посадить. Я тоже в четвертые перешел. Вместе в школу будем бегать. Звать-то тебя как?

— Петькой.

— А меня Колька, по прозвищу Буденный, потому что я за трудовой народ стою. Ты тоже трудовой народ, вот и заступился за тебя. А они, — Колька махнул в сторону убежавших ребят, — буржуи-толстопузики. Там и Махно, и Шкуро, и Врангель, и Мамонтов, но я их всех громлю! — хвастливо закончил он.

Я первый раз слышал и про Буденного и про Шкуро с Врангелем, потому с завистью спросил:

— Откуда ты про Буденного знаешь?

— Мой отец в его армии служил, но больше нам все дядя Егор-большевик про вой-



Колька

ну рассказывает, он тоже конармеец. Будешь со мной водиться, и ты про Буденного послушаешь.

Колька мне сразу понравился, захотелось с ним подружиться.

— Ты где живешь? — спрашиваю его.

— А вот как из этого огорода на улицу выйдешь, так сразу сворачивай вправо, у второго проулка стоит наш дом под жостью. Спросишь Казаковых. А толстопузиков не бойся. Ежели тронут тебя, пощады им от нас не будет! Так и скажи попенку.

От села к гумнам по тропинке шел парнишка с ведром. Колька пронзительно свистнул. Парнишка увидел нас, свернул в нашу сторону.

— Васька-монашонок, мой товарищ. Тоже круглый сирота. Живет у своей тетки-монашки. Ох, и дрянь она, эта монашка! Велит ему с попенком водиться, а он от меня ни на шаг.

Васька был худее, чем я после болезни. Лицо у него сплошь усыпано веснушками. Нос горбатый, а волосы, как в огне горят. Они у него давно не стрижены.

— Куда идешь? — спросил Колька.

— Теленку помои несу, лёлёка послала, — ответил Васька сиплым, будто простуженным голосом, и покопился на меня.

— Это Петька, наш новый товарищ, — говорит ему Колька, — если толстопузики нападут на него, ты заступайся, — наказал строго.

— Ладно, заступлюсь, — пообещал Васька.

Но заступник из него, видать, плохой. Самого ветром качает.

— Пойдем вместе, — сказал ему Колька, — я иду теленка своего посмотреть.

Они пошли на луг, а я направился домой.

С этих пор я почти каждый день бегал к Кольке. То-



Дядя Никита

Колькин отец сидел на чурбаке под навесом, хомут чинил.

— Бог в помощь, Никита Силантьевич,— ласково сказал Тарас Нилыч и тронул рукой картуз.

— Спасибо,— тряхнул мохнатой головой дядя Никита.— Милости прошу, присаживайся.

Он был широкоплечий, с черной курчавой бородой и густыми бровями. Голос у него грубый. Он выглядел суровым, я его боялся.

Тарас Нилыч сел против дяди Никиты.

варищей у него было много, но мы с Васькой ходили за ним словно тени.

Как-то раз, когда мы втроем собирались на рыбалку, к Казаковым пришел богач Тарас Нилыч.

Я думал: кулаки все пузатые, мордастые, с бородой-лопатой и бычьим горлом, но Тарас Нилыч оказался тощим, с среденькой бородкой и тихим ласковым голосом. Одет он был тоже просто: на голове поношенный картуз, на ногах стоптанные сапоги. Только рубашка и штаны на нем были домотканые.

— Погодка-то стоит — благодать, — протяжно сказал он.

— Погода — надо бы лучше, да некуда, — согласился хозяин, — хлеба хорошо тянутся вверх, и трава по пояс выдула. Сенокос-то когда думаешь начинать?

— Как все, после троицы, — ответил гость. Потом кашлянул в кулак, спросил: — Ты знаешь, пошто я к тебе пришел?

— Скажи, сделай милость.

— Парнишка твой пакостит.

Колька, привязывая крючок на леску, покосился под навес, а мы с Васькой переглянулись.

— Взял да капусту у меня подергал. Бабы трудились, сажали, а он все до последнего корешка решил.

Дядя Никита нахмурил густые брови.

— Колька, поди сюда! — строго позвал сына.

Тот отложил удочку, подошел к отцу.

— Ты у Тараса Нилыча капусту дергал?

— Дергал.

— Зачем?

— А он зачем?! — запальчиво начал было Колька.

— Цыц, сукин сын! — рявкнул отец. Вскочил на ноги, снял с бороньего зуба поперешник и ну пороть сына.

Колька даже ни разу не



Тарас Нилыч

крикнул. Он очень терпеливый. Тарас Нилыч вступился за него.

— Полно тебе, Никита Силантьевич! Пошто так мальчонку истязает? Нешто, он виноват?

Дядя Никита отпустил Колькину руку.

— А кто же виноват?

— Егорка виной всему, он их наущает. Ты покалякай с ним, а то совсем испортит тебе парнишку... Нынче капусту подергал, а завтра гляди кого-нибудь ножом в бок пырнет!

Колька подошел к нам. На глазах у него выступили слезы.

— Больно? — посочувствовал ему Васька.

— Щекотно, — огрызнулся Колька и ушел в избу.

А Тарас Нилыч все наговаривал дяде Никите.

— И зачем Егорка среди людей смуту сеет? Все мы православные, под одной властью находимся и должны жить в мире да согласии. А он Митьку с друзьями на Фомку с товарищами натравляет, твоего парнишку — на сынишку отца Никодима... Вражда идет на селе и между парнями и между отроками. Потолкуй с ним, пока не поздно. А то большой беды можешь нажить. Ну, прощай. Дела ждут.

Он ушел. Дядя Никита, надев картуз, тоже хлопнул калиткой.

— Должно, к дяде Егору пошел. Наверно, ругаться будут, а может, драться сцепятся, — шепнул мне Васька, — айда посмотрим.

Он побежал к задней калитке, я за ним.

Мы миновали несколько огородов и очутились у невысокого плетня.

— Садись и гляди, — шепнул Васька.

Дядя Егор жил не богаче нас. Саманная избенка под соломенной крышей, плетнем огорожен двор. Я

еще ни разу не видел дядю Егора. Сейчас он на дворе обтесывал топором жердь и вполголоса напевал басом:

Мы — красная кавалерия, и про нас
Былинники речистые ведут рассказ...

— Эх, и басыще у него! — восторженно прошептал мне в ухо Васька.

...О том, как в ночи ясные,
О том, как в дни ненастные
Мы гордо и смело в бой идем!..

Продолжал мурлыкать себе под нос дядя Егор. Прищурив один глаз, проверил: ровно ли обтесал.

Он высоченного роста, длиннющие усы прокопчены табачным дымом. Примерил жердь, хороша ли будет наклейка к рыдвану.

— Коротковата малость, — почесал он в затылке и опять запел:

...Веди ж, Буденный, нас смелее в бой!
Пусть гром гремит, пускай пожар кругом...

Тут во двор вошел мрачный дядя Никита.

— Ну, вылитый цыган, — хихикнул Васька.

— Слушай, Егор, ты мне парнишку не порты! — сразу начал дядя Никита.

— А чем я его порчу? — удивился дядя Егор.

— Рассказываешь ему всякие сказки, а он, черт знает, что бедокурит!

— Ска-азки? Это какие же сказки я ему рассказываю?! — загремел басом дядя Егор. — Может, те, как с тобой две недели по деникинским тылам скитались, или как у казаков из-под носа раненого командира эскадрона увезли? А может, то сказкой назовешь, когда мы в разведке в замке пана в засаду к полякам попали?

— Но ты послушай, чего он вытворляет! — начал го-

рячиться дядя Никита.— У монашки намедни трубу заткнул. Затопила баба утром печку и чуть было дымом не задохнулась! У Тараса Нилыча всю капусту подергал. Это как?!

Они стояли друг против друга: один высокий, костлявый, другой — низкий, кряжистый.

— Сейчас тузиться начнут,— дрожал от волнения Васька.

— А ты знаешь, что эта ведьма-монашка совсем замучила сироту?! Знаешь, что этот мироед Тарас работника в кровь избил?! — басил дядя Егор пуще прежнего.— Трубу затыкать или капусту дергать — это озорство, согласен. Но парнишка сделал это в отместку. Он больше не знает, как помочь обиженным. А родной отец вместо того, чтобы разъяснить ему все, готов шкуру с него спустить! Эх ты, конармеец... Поглядел бы сейчас командир полка, каким стал его лихой разведчик Никита Казаков, со стыда бы сгорел! — махнул рукой дядя Егор.

— Это почему же? — насупился дядя Никита.

— Потому, что ты в кулаки метишь!

— Я своим трудом хозяйство наживаю.

— Пока своим, но через годик-другой уж неуправно одному-то станет, придется работника нанимать. А разве мы для этого свержали царское самодержавие? Для этого рубали беляков, чтобы самим потом угнетать трудовой народ?!

— Чего ты ерепенишься? Никто не собирается угнетать трудовой народ,— пробубнил дядя Никита, опустив глаза.

— Ты не собираешься, другие угнетают! В деревне идет классовая борьба, а конармеец Никита Казаков зубами вцепился в свое хозяйство!.. Дальше своего носа ничего не видит. «Моя хата с краю».

— Ну, опять завел про свое...— покачал головой дядя Никита, затем повернулся и зашагал со двора.

Тут к нам подошел Колька.

— Вы чего притаились? А я вас везде ищу. Ладно, шабренка сказала: «Они в ту сторону побежали».

— Отец твой приходил,— сообщил Васька.

— Чего он?

— Про тебя говорил, а дядя Егор его так шуганул, он еле ноги со двора унес.

— Врешь ты все. Сейчас сам у дяди Егора спрошу,— сказал Колька и толкнул плетеную из хвороста заднюю калиточку. Мы с Васькой пошли за ним.

— Здорово, дядя Егор,— тряхнул кудлатой головой Колька.

— Здорово. Легко на помине. А вы что, воды в рот набрали? — напустился на нас дядя Егор.

Тогда и мы с Васькой поздоровались.

— Зачем отец приходил? — допытывался Колька.

— За надой. Понятно? Мал ты еще у старших отчет требовать. А учиться у старших тебе надо. Давай вот сядем с тобой в холодок да потолкуем.

Дядя Егор сел на зеленую травку и привалился спиной к плетню. Мы угнездились рядышком с ним. Он достал из кармана кисет, свернул сигарку. Насекой добыл из кремня на трут искру, раздул ее и прикурил.

Изо рта и ноздрей у него повалил дым. Нос у дяди Егора большой, глаза большие и кадык тоже большой.

— Вот ты подергал у Тараса-миroeда капусту,— зарокотал дядя Егор, глядя на Кольку.

— Далась вам эта капуста,— пробурчал тот, глядя в землю.

— А ты слушай, да на ус наматывай,— сдвинул себе на затылок старую солдатскую фуражку дядя

Егор.— Капуста, ведь Коля, ни в чем не виновата. Виноват Тарас; его надо с корнем выдергивать. Но он не один такой эксплуататор, их много, кулаков-то. Значит, в одиночку с ними бороться нельзя. Надо против них идти организованно, сообща. Так нас, большевиков, учит Советская власть.

— В Глушицу ведь не дошла Советская власть,— говорю ему слова отца.

— Это как не дошла?! — вытаращил на меня глаза дядя Егор. Кадык у него сердито подпрыгнул вверх.— Девятый год у нас Советская власть.

— А зачем же Тарас Нилыч хозяйничает в селе? Души у бедноты покупает? — не унимался я. Васька испуганно толкнул меня в бок. Удивленно посмотрел Колька.

— Вон ты про что,— почесал щетинистую щеку дядя Егор, посмотрел на меня пристально и только теперь спросил:

— Да ты чей? Тебя как зовут-то?

— Петькой его кличут, Хлебновых он, из приюта,— вместо меня ответил Васька.

А Колька добавил:

— Он к учению способен. За зиму сам всю грамоту одолел. Его теперь сразу в четвертые посадят.

— Во-он как!.. Ну, молодчина. Учись, и вы, ребята, учитесь. Нам теперь, ох, как грамотные люди нужны! А кулачье, Петя, хозяйничает потому, что у нас на селе Советская власть еще не окрепла. Души, положим, Тарас не покупает, а жилы у батраков выматывает. Но скоро отольются волку овечьи слезы. Царя, буржуазию свергли, а с кулаками и вовсе справимся. Вот только рабочий класс подмогу нам пришлет.

— Солдат пригонят? — обрадовался Колька.



Дядя Егор улыбнулся.

— Нет, Коля, солдаты нам не нужны. Нам нужен большевик-организатор.

— Ты ведь сам большевик,— удивился Колька.

— Верно, большевик,— подтвердил дядя Егор,— умом и сердцем я все понимаю, но высказать правильно не могу, язык у меня корявый. А тут нужны такие слова, чтобы людей за душу брали, чтобы огонь в сердцах зажигали. Нужен агитатор, руководитель народной массы! Понял? Да и маловато нас, большевиков-то: председатель сельсовета да я.

— А чего же не шлют руководителя? — допытывался Колька.

Дядя Егор затаился напоследок несколько раз подряд, загасил о землю окурок, сказал со вздохом:

— Присылали, а кулачье убило его.

— Чего же их не заарестуют? — встрепенулся Колька.

— Не пойманный — не вор. Они хитро сделали. Поехал он за товаром для кооперации, а когда возвращался обратно, поднялся буран. Лошадь с возом пришла, а его нет. «Напился-де пьяный, свалился где-нибудь да замерз». А ежели я доподлинно знаю, что он в рот не брал спиртного. Тогда как? Весной ходил я на розыск. У Сухой балки нашел его варежку. Вот и выходит: убили да в балку сбросили. Зимой труп под снегом не видать, а весной полой водой унесло его. Попробуй, найди.

Дядя Егор встал во весь свой высоченный рост, забасил сверху вниз.

— Ну, ребята, поговорили и хватит. Мне ведь надо рыдванку доделывать. Сенокос скоро.

Мы не стали ему мешать, ушли.

На другой день, когда мы с Колькой пошли к роднику за водой, нас догнал Васька.

Запыхался, не отдышится никак.

— Знаешь, Коль, знаешь, Петь,— к нам в село приехал избач! — выпалил он.

— Это чего — избач? — спросил Колька.

Васька торопливо засипел:

— Избач — это советский домовый! Станет по домам ходить, весь молодняк — ребят и девок — в нечистую веру обращаться.

— Кто тебе сказал, тетка твоя? — недоверчиво покосился Колька.

— Ну, да,— признался Васька.

— Врет она! — Колька ополоснул ведро.

— А может, правда? — посмотрел на меня Васька.

Я тоже сказал:

— Врет.

— Ну, тогда вы разъясните: что такое избач? Ага-а, молчите... Сами не знаете, а на других говорите,— торжествовал Васька.

Колька зачерпнул из родника ведро воды.

— Сейчас пойдем, спросим дядю Егора.

Мы быстро поднялись по тропинке на берег и зашагали по улице к дому Казаковых.

Колька поставил ведро с водой в сени, скомандовал нам:

— За мной!

Буденовец выезжал на рыдване со двора.

— Дядя Егор-о-р! — закричал изо всей мочи Колька. Тот остановил лошадь.

— Что стряслось?

— Дядя Егор, правда, к нам в село избач приехал?

— Правда, Коля. Вчера прибыл. Рабочий класс шлет нам свою подмогу. Скоро будет у вас новый заведующий школой, большевик.

— А избач, он что будет делать? — допытывался Колька.

— Будет заведовать нардомом, культурную работу станет проводить на селе. Да вы сбегайте к нему, он уж, наверно, в нардоме. Познакомьтесь с ним, спросите. Ну-у, родимая, пошевеливайся!

Дядя Егор щелкнул кнутом в воздухе и запыхал по улице.

— Понятно тебе? — строго спросил Ваську Колька. — Культурную работу станет проводить на селе. За мной!

И мы припустились к нардому.

Нардом стоял посреди площади, недалеко от школы. У нардома молодой парень связывал проволокой две длинные жерди и напевал:

...Наш паровоз, лети вперед!
В коммуне остановка,
Иного нет у нас пути,
В руках у нас винтовка.

Мы остановились за углом школы.

— Глянь, на голове-то у него башкирская тюбетейка, — испуганно засипел Васька, — и рубашка на нем чудная: сама красная, а воротник и концы рукавов — черные.

— Городская, — пояснил Колька, — пошли.

— А может, он все-таки домовый? — попятился Васька.

Почему-то и меня робость взяла. Тогда Колька один направился к избачу. Я поборол свою робость, пошел за ним.

— Вот и помощники идут,— оглянулся на нас парень.

У него светлый чуб, веселые голубые глаза. А зубы мелкие, ровные и блестящие.

— Здорово, хлопцы!

— Здорово, коли не шутишь,— ответил Колька.

— «Уж больно ты грозен, как я погляжу»,— засмеялся парень,— давайте знакомиться: меня зовут Костя, а вас как?

— Я — Колька, он — Петька. Чего мастерить хочешь? — поинтересовался вдруг.

— Радио знаешь?

— Нет. А что это за штукавина?

— Сейчас объясню,— сказал Костя и принялся растолковывать нам,— далеко, за тысячу верст отсюда, стоит столица нашей Родины Москва. Там есть дом, который называется радиостанция. На этой радиостанции человек говорит в микрофон, аппарат такой, слова по проводу поднимаются на высокую железную мачту и с нее по воздуху летят во все уголки земного шара.

Мы с вами поставим две длинных деревянных мачты — одну на клубе, другую — на школе. Натянем между ними проволоку — антенну. Один конец проведем через окно в клуб к радиоприемнику — ящик такой, будут слова из Москвы лететь по воздуху, зацепятся за нашу проволоку, прибегут в радиоприемник, и он заговорит!

— Ох, ты и врать здоров! — покачал головой Колька.

Костя весело засмеялся.

— Не веришь?

— Чай, не маленький.

— Ну, ладно, Фома неверующий, сам услышишь.



Костя

Из-за угла показался Васька. Он боязливо, с оглядкой, пошел к нам.

— Вот еще один помощник идет. Смелее, брат! — подбадривал его Костя. — У-ух, какой ты золотистый!.. Прямо жар-птица!

— А они говорят — рыжий, — показал на нас Васька.

— Так они, пожалуй, скажут, что я сивый, — смешно развел руками Костя.

— Ты и так сивый, — подтвердил Колька.

— Нет, я — светловолосый; значит — блондин, — заспорил Костя, — ты ведь не вороной, а черноволосый, то есть брюнет, Петя — шатен, русоволосый. Рыжие, вороные, карие да сивые только лошади бывают, а не люди. Понял?

Тут Васька ни с того, ни с

сего спросил Костю:

— Ты нехристь?

— А ты во христе? — улыбался Костя.

— Знамо дело, вот погляди! — Васька торопливо расстегнул ворот рубашки и достал медный крестик на засаленном гайтане.

— А если ты снимешь его, тогда что?

— Тогда господь бог покарает! — испуганно сказал Васька.

— Как? — не унимался Костя.

Васька страшно вылупил глаза:

— Громом поразит!

— А что же он меня не поражает? — подтрунивал Костя.

— Он не знает, что ты без крестика, — промямлил Васька.

Костя громко захохотал.

Колька сердито покосился на монашонка:

— Молчал бы лучше.

Костя потрепал Ваську за вихры:

— Эх, ты, богомолец!.. Ну, ладно. Мы еще с вами, ребята, об этом не раз поговорим, а сейчас давайте радио налаживать. У вас дома железные лопаты есть?

— Скребки, что ли? — переспросил Колька.

— Ну, да.

— Есть, как же без скребка в хозяйстве, — ответил рассудительный Колька.

— Принесите два скребка и острый топор, — попросил Костя.

— Это мы мигом, — согласился Колька и скомандовал нам с Васькой: — За мной!

Когда мы бежали обратно к нардому, нам повстречался дядя Ваня на телеге. Андрюшка тоже с ним ехал.

Кричу ему:

— Андрюшка, айда с нами!

— Тр-р-р, стой, холостой, приехал женатый, — весело заговорил дядя Ваня и посмотрел из-под руки на нас: — Ведь это, никак, Петя-петушок зовет тебя? — спросил сына.

— Он, — подтвердил тот, — я останусь с ним, — и прыгнул с телеги.

— Ребятишки не поколотят тебя?

— А кто их знает? — ответил Андрюшка.

В разговор вступил Колька.

— Не бойся, дядя Иван, мы сами кого хочешь отколотим.

Дядя Ваня близоруко прищурился на него.

— Ты не Никиты ли Казакова сынок?

— Его,— подтвердил Андрюшка,— Колька, про которого я тебе говорил.

— Парень геройский,— сказал дядя Ваня,— спуску никому не даст. Хоть мал, да удал! Ты, Андрюшок, держись ближе к нему. Э-ээ, родная, поехали за орехами! — и телега затарахтела по улице.

По дороге к нам еще пристряли несколько ребят. К народу нас пришла целая орава.

Костя обрадовался.

— Помощники растут, как грибы после дождя! А ну, беспокойное племя, за работу! Вы, четверка, на переменку в две лопаты, ройте вот здесь под окном яму.

— Глубокую? — спросил Колька.

— С метр.

— А сколько это по-нашему?

Костя засмеялся.

— По-вашему, два аршина. Остальные идите со мной устанавливать мачты.

И пошла работа на полный ход.

Когда мы яму вырыли, Костя положил на дно большую железяку с намотанной на нее медной проволокой. Другой конец проволоки просунул в пробуровленную дырку рамы.

— Теперь засыпьте яму и утрамбуйте хорошенько. Это будет заземление.

Мы принялись засыпать. А тем временем к народу еще прибежали много ребят.

Костя укрепил на крышах две высоченных, сажня

по четыре каждая, мачты, натянул между ними медную проволоку.

— Как это называется? — спросил он нас.

А мы уже забыли.

— Антенна, — напомнил Костя.

Конец антенны тоже просунул в дырку рамы.

— Теперь идемте настраивать приемник.

Мы все гурьбой повалили за ним в нардом.

Внутри был беспорядок. Скамейки стояли как попало. Стол на сцене опрокинут. На полу подсолнечной шелухи и навозу по колено. Тут кое-когда телята от жары спасались, потому что дверь никогда на замок не запиралась.

Справа от двери через всю ширину нардомы была дощатая перегородка. Костя пошел за перегородку, мы столпились у двери.

На столе перед окном стоял небольшой, всем нам непонятный, ящик, который Костя мудроно называл «Радиоприемник».

— Я маленько посижу, — сказал мне Андрюшка, — утомился больно. — Он сел у перегородки и вскоре задремал.

Костя присоединил к приемнику антенну, заземление. Потом надел наушники и стал сразу серьезный.

— Теперь, ребята, потише, — сказал он нам вполголоса, а сам начал крутить какие-то колесики.

А мы и так были тише воды, ниже травы. Дыхнуть боялись: шутка ли, ящик заговорит человеческим голосом. Слышно было, как сопел уснувший у самой двери Андрюшка, где-то под потолком жужжала муха, да стучало в груди сердце.

— Что-то мне боязно, — признался Васька. Он оглянулся назад, чтобы знать, где дверь, в случае, если придется дать тягу.

Опять настала жуткая тишина. А Костя все крутил и крутил колесико.

Вдруг в приемнике что-то завизжало:

— У-и-и-и!.. У-и-и-и!..

— Ма-амынька!.. — не своим голосом завопил Васька и метнулся к двери. Все кинулись вслед за ним. Васька, споткнувшись через Андрюшку, грохнулся на пол. Через него стали падать другие. Получилась куча мала.

— Кара-уул!.. — заорал спросонья Андрюшка. Вскочил на ноги и вместе со всеми выскочил на улицу.

Мимо клуба шел самый отчаянный на селе парень, Митька-мадьяр. Ходил он быстро, говорил быстро, глаза у него быстрые.

— Вы что, как угорелые, выскакиваете? — выпалил он хриповатым голосом.

Васька тряся, как в лихорадке, чуть ли не со слезами говорил ему:

— Там у избача в волшебном ящике поросенок визжит!..

Другие ребята тоже окружили Митьку, наперебой говорили:

— Словно под ножом орет!..

— Только далеко, будто на том конце села!..

— Сейчас я этого поросенка за хвост вытащу!.. — отрывисто сказал Митя и двинулся в народ. Руки он всегда держал ухватом, будто бороться с кем собирался.

— Эй, ты, зачем ребяташек пугаешь? — с порога напустился на Костю.

— Да я сам не знаю, чего они испугались? — развел руками Костя.

— Как не знаешь? Что у тебя там в ящике за поро-



сенок визжит и ребят пугает! Сейчас я его за хвост выброшу и твой чертов ящик в щепки разнесу!

Костя встал в дверях перегородки и строго сказал:

— Не смей прикасаться к радиоприемнику.

Митька насмешливо подмигнул нам: «видали, мол, храбреца?!»

— Да я таких, как ты, троих сомну!

— С одним-то не справишься.

Митька, не раздумывая, развернулся и трах кулаком... по двери! Потому что Костя успел увернуться.

Митя поморщился от боли и еще больше осерчал.

— Получай с левой!

Но ударить не успел. Костя моментально снизу вверх трах его кулаком в подбородок! Митька так и брякнулся на пол. Руки, ноги раскинул и лежит на спине. Потом сел, потрогал себя за подбородок, будто проверял: на месте ли он.

— Что за чертовщина?! Не видный из себя, а бьешь на сшиб.

Он опять подмигнул нам, но без насмешки: «видали, мол, как он меня угостил?»

— Бокс надо знать,—спокойно пояснил Костя.

Митька поджал под себя ноги, весело попросил:

— Ты научи меня так драться!

— Учат друзей.

— А мы с тобой подружимся, ей-богу! Я люблю смелых да ловких.

— Поживем — увидим,—говорит Костя.

Митька легко вскочил на ноги, по-хорошему попросил:

— Ну-ка, покажи свой волшебный ящик.

— Пожалуйста, смотри. И никакой он не волшебный, а самый настоящий радиоприемник.

Митька с Костей вошли за перегородку, мы все за

ними. Ящик стоял на прежнем месте и тихо говорил. Митька подошел к столу, начал со всех сторон разглядывать ящик. Колька тоже приблизился к нему, а Вася только заглядывал в дверь и боялся войти за перегородку.

— Чудеса в решете! — воскликнул Митька. — Это вроде граммофона.

— Нет, — улыбнулся Костя, — на граммофоне пластинки играют, а тут радиоволны действуют. Я вам потом подробно все объясню.

Митька покачал головой и передразнил нас:

— «Поросенок визжит...» А тут радиоволны. Понятно вам?

Он сел на скамейку, оглядел комнату.

— Так теперь и будешь эту шарманку крутить?

Костя засмеялся.

— Дел у меня много. Вот приведу клуб в порядок — вечерами стану беседы проводить, книжки читать, песни разучивать, пьесы ставить.

— Спектакль, что ли?

— Ну, да.

— Дело стоящее. Большевик начал было у нас спектакли подготавливать, да вскоре пропал. Без него все заглохло, — скороговоркой выпалил Митька и добавил: — Хор надо сколотить. Мои мадьяры петь мастики!

— Организуем и хор, — пообещал Костя.

— Наську Ерофееву в хор-то бы затянуть, — прищелкнул языком Митька, — эх, и голосище у нее!.. В церкви на клиросах как врежет, аж купол звенит!

— Вовлечем и Настю.

Митька вздохнул.

— Фомка-женишок не пустит.

— И его пригласим, — потряхнул головой Костя.

— Тогда мы не придем! — наотрез заявил Митька. У него даже ноздри растопырились.

Костя удивленно посмотрел на него.

— Почему?

— Ты что, с луны свалился? — накинулся на него Митька. — Не знаешь, что Фомка — богатей, а мы, мадьяры, — голытьба?!

— Понятно, — протяжно сказал Костя и о чем-то задумался.

Митька дружески хлопнул его по плечу.

— Да ты не тужи!.. Обойдемся без Наськи. У меня один мадьяр на подголоске так тянет, будто струна звенит! А другой по-бабьи говорить умеет. Ежели для спектакля его в юбку нарядить да платок ему на голову подвязать, уморит всех со смеху!

— А много вас? — спросил Костя.

— Мадьяр-то?

— Да.

— Ежели сразу всех вместе собрать, то человек пятнадцать будет, — с гордостью заявил Митька.

— Порядочно. А почему вас мадьярами зовут?

— В гражданскую войну у нас здесь стоял конный отряд красных мадьяр. У них порядок был строгий, дружные они очень: один за всех — все за одного! Вот мужики и прозвали нас так.

— Значит, и вы дружные?

— Еще какие!.. Попробуй тронь кого из наших. Он сейчас же как свистнет (тут Митька так свистнул, что у меня в ушах заломило, а Костя свои уши ладонями зажал), потом крикнет: «Ко мне, мадьяры-ыы-ы!». И кто из нас услышит этот клич — бросает все и бегом на помощь.

— Это хорошо, — одобрил Костя, — а ты у них за старшего?

— Командир,— гордо ответил Митька и тут же добавил: — В случае чего, тоже подавай такой сигнал — выручим.

— Спасибо, буду иметь в виду.

— Свистеть умеешь? — допытывался Митька.

— Нет,— виновато улыбнулся Костя.

— Научись, а то какой же ты будешь мадьяр? А меня научи драться по-своему. Ну, я пошел. Только ты пошевеливайся. Когда жнитво начнется, к тебе в народ уж никто не придет.

Сложив руки ухватом, он быстро ушел.

Костя сказал нам весело:

— Ну, ребята, и вам тоже пора домой. Сегодня мы потрудились на славу. А завтра клуб приходите убирать. Побелим стены, повесим картины, лозунги, плакаты, вымоем пол — и засветится клуб по вечерам приветливым огоньком: заходите, люди добрые!

7

В клубе все украсили так, что одно загляденье стало. И начал Костя вечерами с молодежью работу проводить. А потом куда-то уехал или ушел. А когда он вернулся, по селу разнеслась весть: вечером в клубе будут показывать кино.

Нам с Колькой про это Васька сказал. Он всегда первый все узнает.

— По пятаку с носа будут брать,— добавил он.

А что такое кино, хоть убей, никто не знал.

— Бесов будут тешить,— неуверенно пояснил Васька.

— Опять тетка сказала? — нахмурился Колька.

— Она,— признался Васька.

— Ты не слушай ее брехню, а то над тобой куры

смеяться станут.— Дяди Егора дома не было, Костю тоже не нашли, а Колькин отец неохотно буркнул:

— Туманная картина,— и больше ничего не стал говорить.

Вечером в нардоме людей битком набилось.

Мне и Кольке дома дали по пятаку, а Васькина монашка пожадничала: денег ему не дала. Но у Андрюшки был гривенник, и он уплатил за Ваську.

— Тятя не будет меня ругать: он всех сирот жалеет.

Мы, ребяташки, сидели прямо на полу. Перед нами от потолка до пола висело белое полотно. Ребята на него все глаза промозолили, но ничего путного не видели.

— Ну, уж и кино,— скучным голосом сказал мне Андрюшка,— только пятак зря пропал. Он зевнул и стал высматривать место, где бы поудобнее улечься. Но в это время за перегородкой что-то жалобно завывало: у-вы-ы, у-вы-ы. Тут же около маленького окошечка вспыхнул ослепительный свет.

Все заахали, загалдели.

— Батюшки-светы, чудо-то какое!..

— Глянь, пузырек светит! Да ярко как!..

— Вот это лампа: ни дыму, ни копоти!..

— Вон где кино-то, а мы, дураки, тут сели,— с досадой говорит мне Колька.

— Ти-и-ше-е! — гаркнул дядя Егор так, что керосиновая лампа рядом с ним заморгала. Он стоял у перегородки.— Это — алекстричество! Скоро наступит время, и такая вот лампочка Ильича загорится в избе у каждого мужика.

Люди недоверчиво загудели.

А дядя Егор одно свое гремит басыщем на весь нардом:



— Да, товарищи! Такое время не за горами. Алекстричество будет не только светить нам, но и станет работать вместо лошади.

Теперь уже все засмеялись.

Но дядя Егор не обиделся, он еще хотел что-то сказать, а лампочка в это время — чик — погасла!

— Как же она потухла? Ведь никто не дул на нее? — удивился Васька.

— Сказано тебе: алекстричество, — ответил Колька.

— А, может, и впрямь нечистая сила в пузырьке сидит? — просипел мне в ухо Васька. Он дрожал мелкой дрожью, озираясь кругом.

Я ему ничего не мог ответить. Ох, и надоел он со своей нечистой силой.

В этот момент из окошечка перегородки выскочил яркий пучок света и отпечатался на полотне рамкой с полукруглыми углами.

Тут же на полотне появилась тень чьей-то взлохмаченной головы, а кто-то кулаком по ней — тук! Поднялся смех. Тень пропала. Луч пропал тоже. Керосиновую лампу потушили. В зале стало темно и тихо.

Только за перегородкой по-прежнему выла машина: у-вы-ы, у-вы-ы... да кто-то кого-то подгонял там: «Быстрее, быстрее давай! Вот теперь хорошо. Так все время крути, не сбавляй!»

Что-то застрекотало. Снова из окошечка выпрыгнул луч, но теперь уже на полотне было такое, что все замерли: лес, речка и небо с облаками. Откуда ни возьмись — коза! Стоит и щиплет травку. Ее все видят и все кричали:

— Смотри, смотри — коза!

— Вот диво! Ха-ха-ха!..

Коза будто услышала шум: перестала жевать траву, уставилась на нас.

— Бе-ке-ке! — проблеял Колька. Все засмеялись. Коза, словно обиделась, что ее дразнят, тут же пропала.

Далеко, далеко за речкой показался поезд. Он густо дымил, пытел и пер прямо на нас. Вот он катит все ближе, ближе... Громадный, страшный... Ребята на полу и многие взрослые на скамейках завозились. Вдруг всем показалось, что чудовище с полотна сейчас махнет на людей.

— М-а-мынька!.. — завопил Васька и метнулся от полотна в сторону. Другие ребята тоже кинулись, кто куда. Вскочили на ноги и взрослые. Получилась давка, крик. Другие, кто не робкие, смеялись.

• Фомка улюлюкал.

— Механик, останови! — во весь бас рявкнул дядя Егор.

Тут же на полотне все пропало, а около окошечка вспыхнула лампочка.

— Народ ни кино не знает, ни паровоза сроду не видали, а тут прямо на них такое страшилище прет! — гремел он на весь клуб. — Костя, разъясни людям, что к чему...

Из-за перегородки вышел Костя. Он виновато улыбнулся.

— Извините, Егор Никанорович. Я не думал, что публика настолько уж отсталая. — Потом обратился ко всем: — Товарищи! У всех у вас дома есть фотокарточки. Кинолента — те же фотокарточки, только не на бумаге, а на пленке, которую просвечивают электрической лампочкой. Киномеханик, дайте, пожалуйста, только один кадр на экран.

Лампочка погасла, а на полотне появился похожий на дядю Егора красноармеец с котелком и ложкой в руке у широко разинутого рта. Он не двигался. Все засмеялись. Костя объяснял:

— Вот видите: это — самая настоящая фотография. Но их, таких карточек, очень много, одна за другой сменяются. Когда киномеханик начинает крутить ручку киноаппарата, лента движется, карточки быстро мелькают, и нам кажется, что человек шевелится.

Киноаппарат затрещал, и красноармеец начал жадно есть ложкой из котелка. Опять все засмеялись.

— Понятно? — спросил Костя.

— Поня-а-атно-о-о! — грянули в ответ.

— Давай крути дальше, хватит тебе темный народ просветлять, — горланил Фомка на весь клуб. Он-то уж, наверно, не испугался паровоза. Такие ухаи ничего не боятся, им все нипочем!

Митька бы тоже не оробел, но его почему-то не было в клубе.

— В картине будут стрелять, будут снаряды и гранаты рваться, но вы не пугайтесь: никого не убьет и не ранит — все это только живые карточки, — добавил дядя Егор.

И картина пошла дальше. На полотне появилась длинная деревенская улица. Вдруг на том конце улицы показался конный отряд и помчался опять на нас. Все сидели спокойно. Колька во все глаза смотрел на конников, а Васька и на этот раз затрясся. Когда первый кавалерист, казалось, сиганул прямо в зал, Васька быстро зажмурился и пригнулся к полу. А конники один за другим взвились к потолку и были таковы. Улица опустела, только у ближнего дома собака таякала.

Васька открыл глаза, спросил Кольку:

— Где верховые-то?

— На подлòвку ускакали, — скороговоркой ответил тот, не отрывая глаза от полотна. Там уже беляки торопились пушкой скорее навести.

Васька взглянул на потолок, тяжело вздохнул:

— До чего страшно!

— Ну, иди домой,— говорю ему.

— Больно охота поглядеть,— ответил он.

Все кино было про войну. Красные воевали с белыми и победили их! Когда кино кончилось, дядя Егор сказал всему народу:

— Вот так, товарищи, бились мы за Советскую власть! И все, как один, встанем грудью на защиту отечества, ежели буржуи нападут на нас!

Когда мы пошли домой, Колька сказал:

— Видал, как гибли красные за трудовой народ? А нам и повоевать не доведется. Хоть бы попенок подвернулся под горячую руку!

После кино у него чесались кулаки, но попенок со своими дружками не подвернулся нам.

На другой день все только и говорили про кино. Его называли: кто «туманная картина», кто «волшебные карточки». Кому как в голову взбредет. А монашка распускала слух, что это не к добру, что антихристы на наши головы накликают конец света...

Когда мы под вечер повстречали Костю, он, весело улыбаясь, спросил нас:

— Ну, пионерия, понравилось вам вчера кино?

— А чего это: пи... пинаерия? — не понял Колька.

— Вы и про пионеров не слыхали? — удивился Костя. — Ну и ну-у-у... Тогда, братцы, разговор у нас с вами будет серьезный. Вы в ночное ездите? — ни к селу, ни к городу спросил он.

— А то как же! Нешто без ночного можно? — рассудительно ответил Колька. — Где ж тогда лошади хорошей травы вволю наедятся?

— Тогда собирайте побольше ребят, я с вами тоже поеду. В ночном и поговорим о пионерах. Идет?



Настя

В Семеновых ветлах на узкой тропке нам повстречалась молоденькая девушка — писаная красавица. Черные волосы заплетены в длинную косу. Глаза большие и тоже черные. Про такие глаза говорят: взглянет — рублем подарит.

Она шла и пела песню, но как только увидела нас, сразу умолкла.

— Здравствуйте, Настенька! — радостно улыбнулся ей Костя.

Она остановилась, опустила глаза.

— Откуда ты меня знаешь?

— Только надо поторопиться, а то скоро все на покос с ночевкой выедут. Тогда ночное не понадобится, — пояснил Колька.

— Давайте завтра.

— Завтра, так завтра, — согласился Колька.

— У кого лошади нет, тому можно в ночное? — робко спросил Васька и тут же покраснел весь.

— На нашей лошади поедешь, — авторитетно, как хозяин, сказал Колька.

— Все — договорились! — дружески хлопнул его по плечу Костя. — А теперь идемте купаться. Жарища сегодня адская!..

Мы через огороды отправились к омуту за Семеновыми ветлами.

— По песне угадал,— засмеялся Костя, а сам глаз с нее не сводит.

Настя взглянула на него и тут же опять потупилась.

— У нас все девушки поют.

— А так хорошо только вы одна,— не унимался Костя.— Ребята, вы идите, я вас сейчас догоню.

Мы пошли дальше. Он нас так и не догнал и к омуту пришел не скоро. О чем он говорил с Настей Ерофеевой, мы не знали, только после этого она, на диво всем, стала ходить в клуб на спевку. За ней потянулись другие девушки. Хор у Кости получился, что надо! Песни они пели такие, каких в селе сроду никто не слышал: новые, советские.

8

В ночное выехала целая кавалерия — человек тридцать. Колька сказал:

— Еще никогда вместе так много не собиралось.

Тут был и пухлощекий попенок на своем буланом жеребчике, и его дружок, плешивый Афонька — Фомкин брат, такой же, как Фомка, пучеглазый, тоже на жеребце, и сынок Тараса Нилыча Федька — хилый парнишка.

Под Колькой был мерин-гнедок, лошадь добраячая. И только теперь я увидел, какая плохая у нас лошаденка: старая, пузатая, хвостик жиденький, да и тот зачем-то набок своротился.

Правду мама сказала: «Плохо быть бедными».

Под богатыми жеребцы плясали, грызли, удила, а мой мерин стоя спит.

— Все в сборе? — спросил Костя.

— Все-е-е! — грянули мы в ответ.

— Тогда поехали! — скомандовал Костя.

Кони застучали копытами. Собаки нас провожали дружным разноголосым брехом, а люди удивленно смотрели вслед: что за конница нагрянула? Мы выехали из села. Сразу перед нами раскинулась бесконечная степь. Потом мы свернули с дороги и напрямик поехали к березняку. На пути нам повстречался глубокий обрывистый овраг, шириной сажени две.

— Объезд далеко? — спросил Костя.

— С версту повыше, там овраг кончается, — ответил Колька.

Но тут Афонька подъехал на своем вороном жеребце на самый край оврага. Конь захрапел и стал боязливо пятиться.

— Не возьмет, — вздохнул Афонька и повернул обратно.

— А, может, кто перемахнет? — начал подзадоривать попенюк ребят. Потом с насмешкой крикнул мне: «Эй, ты, детдомовский! Ну-ка на своей кривохвостой перелети на ту сторону!»

Его дружки засмеялись. У меня от обиды сердце защемило. Захотелось треснуть кулаком попенюка по пухлой морде.

Но тут я увидел, как побледнел Колька. Глаза у него сощурились, ноздри раздулись. Он тронул Гнедка к самому обрыву. Гнедок посмотрел на дно оврага, понюхал, потом нетерпеливо стал бить передним копытом по земле. Колька ласково потрепал его по шее.

— Что ты хочешь делать? — забеспокоился Костя.

Стиснув зубы, Колька отъехал сажени на пятьдесят и повернул коня к оврагу.

— Коль, не надо, — жалобным голосом попросил Васька и начал дрожать, как осиновый лист.

— Не говори под руку, — толкнул его в бок одноклассник Степа, — помешать можешь.

Колька еще раз погладил коня. Тот, закусив удила, нетерпеливо переступал ногами.

— Вперед, Гнедко! — выкрикнул Колька и стегнул его поводом.

Гнедко, вытягиваясь в струнку, словно полетел к оврагу. Мы затаили дыхание. Овраг все ближе, ближе...

Васька закрыл лицо ладонями, а Гнедко в этот момент — раз! — и ласточкой перескочил на тот бок.

— Молодец! — выкрикнул Костя.

Колька глубоко вздохнул, улыбнулся и опять похлопал верного Гнедка по шее.

— Наш Буденный скорее себе голову свернет, чем толстопузикам поддастся, — с гордостью сказал Степка. Глаз его радостно сверкал. Мы все тронулись в объезд.

Когда подъехали к березняку, солнышко уже закатилось. Начало смеркаться. Мы спутали каждый свою лошадь, потом стали собирать сухие дрова. На опушке развели костер. Постелили на траву кто чапан, кто попону, с шумом расселись вокруг огонька.

— Картошки с собой захватили? — спросил сразу всех Костя.

— Вестимо, — ответил рассудительный Степка, — нешто в ночное можно без картошки.

— Вот как жару много наберется, тогда картошку посадим, а сейчас давай про этих, как их?.. Про пивонеров рассказывай, — торопил Колька.

Костя посмотрел на него, улыбнулся.

— Не пивонеров, а пи-о-не-ров. Ну, что же, давайте поговорим о пионерах.

Он подкинул несколько палочек в костер.

— Вы все слыхали, что до революции в нашей стране хозяевами были царь, помещики да фабриканты, а крестьяне, рабочие гнули на них спины от зари до зари.

— А потом дали буржуйам по загривку и стали жить хорошо! — выкрикнул Колька. — Это мы знаем тоже.

— Правильно, Коля, но случилось это не сразу и не так легко, — продолжал Костя, — крестьян и рабочих надо было сперва организовать, а затем поднять на борьбу с царизмом. Сделали это Ленин и его верные друзья — революционеры-большевики. Царь их ссылал на каторгу, гноил в тюрьмах, расстреливал, но они продолжали бороться за народное счастье и победили!

Теперь Колька смотрел Косте прямо в рот, ловил каждое его слово.

— Но вы, ребята, знаете, что все люди стареют, потом умирают. Кто же придет на смену умершим большевикам? Откуда наша партия будет брать пополнение?

Мы только переглянулись и не знали, что ему ответить.

Костя разъяснил нам.

— Владимир Ильич Ленин создал Коммунистический Союз Молодежи, сокращенно — комсомол. Мы, комсомольцы, и есть помощники партии. Подростем, наберемся ума-разума, а потом сами станем большевиками.

— А здорово он придумал! Так большевики никогда не переведутся, — опять не утерпел Колька.

— Ленин, Коля, был великий и мудрый человек. Но когда все, теперешние комсомольцы, мы станем большевиками, тогда откуда наша партия будет брать пополнение? — хитро прищурился Костя.

— Мы вырастем и сделаемся комсомольцами, — быстро ответил Колька.

— Молодчина! — хлопнул его по плечу Костя. — Но

чтобы ребята не ждали до семнадцати-восемнадцати лет, Владимир Ильич создал детскую Коммунистическую организацию, которую и называют пионерия. Пионер — значит первый, самый молодой, юный большевик. Пионер — верный помощник комсомола и большевистской партии. Каждый пионер носит на шее красный галстук, частицу нашего знамени.

Тут Костя вынул из нагрудного кармана гимнастерки маленький красный сверточек.

— Вот это и есть пионерский галстук. У него три конца: большой — партия, поменьше — комсомол, маленький конец — пионеры. Галстук повязывают на шею вот так. Тогда все три конца: партия, комсомол, пионерия соединяются в крепкий, нерушимый союз — узел.

— А у нас в селе тоже будут пионеры? — допрашивался Колька.

— Обязательно! — ответил Костя и начал объяснять нам, кого принимают в пионеры, каким должен быть пионер.

— А пионеры богу молятся? — это Васька спросил. Костя засмеялся.

— Пионеры в бога не веруют.

— Эге, вот это ничего себе! — удивился Афонька. — Тогда никто не пойдет в твои пионеры.

— Ты не пойдешь — и не надо, а за других не ручайся, — покосился на него Колька.

— А ты пойдешь? — не унимался Афонька.

Колька немного подумал, потом твердо сказал:

— Пойду!

— Как же ты, такой задира, будешь без драки жить? Ведь сказали тебе: «Пионер — всем ребятам пример». Значит, и драться им нельзя, — с усмешкой сказал попенек.



Колька растерянно посмотрел на Костю.

— Неужто совсем нельзя?

— За правое дело, Коля, драться можно и нужно! На пионерских сборах мы будем об этом и о многом другом говорить подробно.

— А когда ты станешь в пионеры принимать? — не унимался Колька.

— Завтра вы поговорите со своими родителями, а послезавтра все, кто хочет вступить в пионеры, приходите в 12 часов дня в клуб. Там, в красном уголке, будет прием в пионеры.

— А коли отец с матерью не дозволят, тогда как? — устался Степка на Костю.

— Постарайтесь убедить их, но если они будут упорствовать, то за дело Ленина можно бороться без воли родителей. А теперь давайте разучим пионерскую песню. Называется она «Юный барабанщик». Я буду петь, а вы постарайтесь запомнить слова и мотив песни.

Он запел:

Мы шли под грохот канонады,
Мы смерти смотрели в лицо,
Вперед продвигались отряды
Спартаконцев, смелых бойцов.

У Кольки оказался хороший слух, он сразу подхватил мотив, зато я слова хорошо запоминал.

...Средь нас был юный барабанщик,
В атаках он шел впереди
С веселым другом барабаном,
С огнем большевистским в груди.
Однажды ночью на привале
Он песню веселую пел,
Но пулей вражеской сраженный
Пролететь до конца не успел.

А когда Костя пропел четвертый куплет:

С улыбкой юный барабанщик
На землю сырую упал,
Умолк наш юный барабанщик,
Его барабан замолчал... —

Васька расплакался.

— Ты что? — спросил его Костя.

Васька, всхлипывая, ответил:

— Жалко его...

Попенок засмеялся.

— Э-э, от песни раскис!.. Плакса, три копейки вакса!

Костя строго посмотрел на него.

— Тут смеяться нечего. Мне тоже жалко его, юного барабанщика. Но послушай, Вася, конец песни.

...Промчались годы боевые,
Закончился славный поход.
Погиб наш юный барабанщик,
Но песня о нем не умрет!

— Понимаешь, Вася, мальчик погиб за рабоче-крестьянское счастье, зато песня живет, и люди всегда будут помнить о нем.

Песня всем очень понравилась, особенно Кольке. Он все время напевал ее, то и дело спрашивал меня:

— А дальше какие слова?

Потом мы стали резвиться: прыгали через костер, играли в чехарду. Под конец наелись печеной картошки и улеглись спать. Стало тихо. Только слышно, как трещал костер, фыркали лошади да кричала перепелка: «Спать пора! Спать пора!».

Над нами усыпанное звездами небо. Под нами душистая мягкая трава. Рядом притих черный лес. А далеко за холмами на полночь с заката на восход прокрадывалась заря.

На другой день под вечер Колька собрал нас в

землянке, которую мы смастерили в канаве на гумне. Землянка эта называлась «штаб буденовской армии», над ней все время развевался красный флажок.

Кольке не терпелось узнать: все ли ребята завтра вступят в пионеры. Ребята молчали, сопели, глядели в разные стороны.

Колька нахмурился.

— Вы что, подавились?

Тогда Степка, почесывая себе коленку, виновато пробубнил:

— Мамака сказала мне: «Ежели в антихристы запишешься — домой не приходи».

— А мой тятяка говорит: «Я тебе такого пиванера пропишу, ни сесть, ни лечь нельзя будет», — заговорил другой парнишка.

Васька вздохнул:

— Лелека грозилась мне голову оторвать и собакам выбросить.

— «Мамака, тятяка, лелека», — передразнил их Колька. — Царь революционеров на каторгу ссылал, в тюрьмы сажал, убивал, а они все одно боролись против него, а вы хворостинки испугались. Меня тоже ведь за это по головке не погладят.

— А чего тебе дома сказали? — упорно допытывался Степка.

— Ничего.

— Вот видишь! — злорадно усмехнулся Степка. — Тебе-то хорошо...

— Я без спроса вступлю, — тихо пояснил Колька.

Ребята переглянулись. Степка удивленно вытаращил свой единственный глаз. Мы все понимали, что это значит, понимал и Колька.

Чтобы как-нибудь ободрить его, говорю:

— Я тоже без спроса вступлю.

Колька с радостью взглянул на меня. Но я-то хорошо знал, что мне за это дома ничего не будет, а вот ему...

Как вспомню его грозного отца — у меня сразу мурашки по спине забегают. Степка, решив хоть немножко оправдаться, сказал:

— Ты, Коль, считай, что мы тоже пионеры, только без галстуков, а когда вырастем большими, сразу вступим в комсомольцы. Тогда отец с матерью, небось, побоятся пороть нас.

И вот мы в красном уголке клуба. Нас всего-навсего пятеро. Четыре мальчишки и одна девчонка Таня. Тихая, глаза синие. Мама, наверно, вот такая была девчонкой. Только у мамы нос острый, а эта курносенькая.

В селе детдомовских ребят много, а вступали в пионеры только мы трое: я, Андрюшка и еще один Славка — отчаянный.

Его здесь прозвали живорез, хотя он сроду никого не резал, только складной ножик всегда с собой носил. Один раз толстопузики хотели его поколотить, а он выхватил свой ножик да за ними. Они врассыпную от него. С тех пор боятся Славку, как огня, и прозвали живорезом.

Жил Славка там, где и Андрюшка, в Оторвановке, поэтому я редко с ним встречался.

Мы думали: Костя огорчится, что нас так мало вступает в пионеры. Но он не тужил, весело улыбался, говорил нам:

— Не горюйте, ребята! Вас мало, зато вы — самые смелые, решительные! Вы будете стойкими юными ленинцами. Пройдут многие годы, вы станете комсомольцами, потом — большевиками. Когда вас пригласят на пионерский сбор и попросят рассказать, как создава-

лась в селе пионерская организация, вы с гордостью скажете им: «Мы были первыми!».

Отныне красный уголок будет называться «пионерской комнатой». Здесь мы будем проводить пионерские сборы, здесь будет храниться пионерское знамя и здесь под красным знаменем, перед портретом Владимира Ильича вы дадите пионерскую клятву верности делу партии. Здесь я повяжу вам на шею красный галстук — цвета рабоче-крестьянской крови, пропитой за свободу.

Мы выстроились в одну линию перед большим портретом Ленина на стене.

Костя открыл на столе картонную коробку, достал из нее отутюженный огненный галстук. Мы замерли. Мне казалось, что сейчас произойдет такое, чего уже никогда больше не будет. Я стану другим.

Костя подошел к Кольке и повязал ему на шею красный галстук. Другой повязал мне, и так всем по очереди. Потом он встал под портретом Ленина, приставил к левой ноге древко алого знамени с золоченой бахромой по краям, скомандовал: «Смирно!» и начал произносить слова пионерской клятвы, мы все хором повторяли их:

— Я, юный пионер СССР, перед лицом своих товарищей...

Когда мы повторяли: «...клянусь быть верным...», у меня от волнения все похолодело, даже слезы на глазах навернулись.

— Пионеры! За дело Ленина будьте готовы! — призвал нас Костя, держа правую руку ребром ладони над головой.

Мы тоже вскинули руки и дружно грянули:

— Всегда готовы!

И опять у меня мурашки по спине пробежали.

А в зале было много ребят. Они смотрели на нас во все глаза, завидовали нам.

— Вольно,—скомандовал Костя,—вот теперь вы пионеры. Этот торжественный момент останется у вас в памяти на всю жизнь. Скоро я поеду в уком комсомола и привезу вам горн, барабан. Буду там добиваться, чтобы к началу нового учебного года к нам в село прислали еще двух учителей. Тогда дети все до одного будут охвачены учебой. У каждого класса станет свой учитель. Заведующим школой будет другой. Тогда ваше пионерское звено вырастет в большой пионерский отряд. А теперь давайте веселиться.

Он взял гармонь и заиграл «Юного барабанщика». Мы начали подпевать. Когда песня кончилась, Костя с ходу мастерски запереборил веселую плясовую. Славка, показывая в улыбке щербатину, начал лихо отплясывать. Он был большой мастак по этой части. Когда беспризорничал, на базарах да под окнами домов песни распевал, ногами крендели выписывал: на пропитание себе так зарабатывал. Глядя на него, Таня тоже пустилась в пляс. Руки в боки да так хорошо выбивает — загляденье. Тут уж Славка разошелся вовсю! То вприсядку подскакивает, словно мячик, то волчком начал кружиться. А мы все в ладоши подхлопываем.

Когда досыта навеселились, пошли по домам: Андрюшка со Славкой — к себе в Оторвановку, Таня — вдоль речки на свой конец, а мы с Колькой — на свою сторону. С нами были Степка, Васька и еще несколько ребят.

Колька шел с высоко поднятой головой и только изредка кой-когда косил глаза на концы своего галстука. Он был в белой ситцевой рубашке, и галстук от этого казался еще краснее.

У моста нас встретил попенок со своей оравой.

Они начали галдеть нам вслед, обзывать, улюлюкать, свистеть!..

— Э-э, нехристи, безбожники!..

— Красные сопли висят!

— Ироды, христопродавцы!..

Но близко подходить боялись, как бы им взбучку мы не дали.

— Отбुздыкаем их! — говорит Степка Кольке.

— Мне теперь дуриком связываться с ними нельзя. Я буду драться только за правое дело. А ты, ежели хочешь, валяй.

— Мне-то что!.. Они ведь над тобой смеются.

— Собака лает — ветер относит, — спокойно ответил Колька.

— Ну, как хочешь, — недовольно проворчал Степка, кося глазом, — тогда мы домой пойдем.

Он с ребятами пошел в одну сторону, а Колька, Васька и я — в другую.

Попенок о чем-то пошептался со своими друзьями и побежал во все лопатки вдоль реки.

— Куда это они припустились так шибко? — спросил я Кольку.

— А я почем знаю.

Мы прошли еще немного. Вдруг Колька остолбенел и хлопнул себя сердито ладонью по лбу:

— Эх, я — дурацкая статья!.. А Таня-то?! За мной!

Он повернул обратно и, что было мочи, припустился вдогонку за попенком.

Мы с Васькой побежали за ним.

Огляделся по сторонам, но Степки с ребятами уже не видно было. Колька вихрем неся по тропинке, только ветки ветел шелестели. Увидел: на полянке Таня прижалась спиной к ветлине, глаза у нее большие, испуганные. Ладонями она прикрывала на груди красный



галстук, за который хотели вцепиться ребята. Они дергали ее за косы, выли, скалили зубы, бесновались:

— Снимай свою тряпицу, а то дух из тебя вон!

— Ишь, бойкая выискалась!

— Мы тебя проучим, покажем, где раки зимуют!

Их было шестеро. Колька на бегу снял свой галстук и сунул в карман.

— Бей толстопузиков!

Не раздумывая, кинулся в самую гущу.

Они, как увидели, что нас только трое, не разбежались, а дружно набросились на Кольку.

Мне боязно было ввязываться в драку: ведь их целая гурьба, но я поборол свой страх. Чтобы кто не схватил меня за галстук, я тоже снял его, сунул за пазуху (кармана у штанов не было), полез в драку. Меня сразу сбили с ног. Плешивый Афонька, по кличке Чухча,— значит, свинья,— больно стукнул меня по зубам. Но я тут же вскочил и со злостью так начал молотить по башкам кулаками — только держись!

А Васька-бояка оробел: стоит в стороне, дрожит да приговаривает: — Так их, так!.. По морде, по сусалам!.. Еще, еще!!!

Зато Колька бился за троих. Я еще не видел, чтобы кто-нибудь так ловко мог драться. Он вертелся вьюнком, кулаки его мелькали, как молния. То один, то другой толстопузик летел на землю от его сильных ударов, а Кольку никак не могли сбить с ног.

Вот ему удалось треснуть попенка прямо по веснушчатому носу. У того ручьем побежала кровь. Попенок, нагнувшись, вытянул шею и пошел в сторону, шмыгая расквашенным носом.

А в это время я так трахнул Афоньку по выпученному глазу, что он вскрикнул, зажал сразу обеими руками глазницу. Заскулил, закрутился, как червивый баран, потом побежал прочь по узенькой стежке.

Тут уж и остальные пустились наутек.

Теперь Васька расхрабрился: стукнул одного вдогонку кулаком.

Мы не стали преследовать наших заклятых врагов, пускай удирают.

— Я ка-а-ак звездану Мусу гололобого по бритой башке — он так кубарем и покатился! — хвастался Васька.

Колька даже не взглянул на него. Он тяжело дышал. Ноздри у него раздувались, будто кузнечные ме-

хи. Черные глаза блестели, как яркие звездочки. Вынув из кармана галстук, потрянул его, потом накинул себе на шею.

— Поправь воротник,— повернулся он ко мне спиной и завязал на груди вечный нерушимый узел.

Таня все так же стояла под ветлиной: прижимая руки к груди, таращила на нас глаза.

Колька отдал ей пионерский салют;

— Всегда готов!

Потом улыбнулся, спросил:

— Испугалась?

— Да-а-а, их вон сколько накнулись...

— Не бойся. Если опять полезут — скажи мне. Мы отобьем у них охоту наших пионеров обижать. Ступай.

Таня облегченно вздохнула, поправила свой галстук и засемила по извилистой тропинке.

Мы тоже пошли домой. Губы у меня распухли, из десен сочилась кровь. У Кольки тоже лицо было в ссадинах.

А вот как еще встретят его дома с пионерским галстуком? Я решил пойти вместе с ним.

«Может,— думаю,— при мне не так сильно будут его бить».

Только отворил Колька калитку, а дядя Никита — вот он!

— Это что за тряпицу повесил? — спросил насмешливо.

Отец хотел дотронуться до галстука — Колька неожиданно резко ударил его по руке и прямо-таки с визгом закричал:

— Не тронь рабоче-крестьянскую кровь!

Дядя Никита усмехнулся, двинул густыми бровями:

— Ежели рабоче-крестьянская, стало быть, моя кровь тоже там есть.

— Тогда зачем же ты пионерский галстук тряпицей называешь? — тихо спросил Коля, глядя в землю.

— А что означает этот самый... пионер-то?

Колька посмотрел на отца снизу вверх.

— Пионер — значит юный ленинец, маленький большевик.

— Во-он что!.. А много вас таких большевиков сыскалось?

— Пятеро.

— И только? Жидковато,

— Ребята родителей боятся, — пояснил Колька.

Дядя Никита опять усмехнулся.

— А ты, значит, не боишься?

Колька насупился, молчит.

— Что рыло-то все в царапинах? Опять дрался? — нахмурился отец.

— Они нашу пионерку били, мы заступились, — чуть слышно оправдывался Колька.

— Они и вам бока наломали?

Тут уж я не вытерпел.

— Не они нам, а мы им! Хоть их было шестеро против нас двоих.

Дядя Никита взглянул на меня своими грозными глазами, но ничего не сказал.

— Станет ли теперь мать большевика обедом-то кормить? — с усмешкой молвил он и пошел по своим делам.

Колька сразу повеселел. Мать у него добрая. Он с порога заявил ей:

— Мама, я теперь пионер. Богу молиться не буду!

— Отец узнает — задаст перцу.

— Он уже знает. Давай-ка, мама, скорее обедать. Есть до смерти хочу!

Мать начала собирать ему на стол.

Дядя Егор обрадовался, когда увидел на нас с Колькой красные галстуки.

— Значит, большевистской сменой стали?— загудел он своим басыщем на всю улицу.— Молодцы, поздравляю!— и пожал шершавой ладонью руку сперва Кольке, потом мне.

Кадык у него запрыгал то вверх, то вниз.

— Хорошую жизнь никто нам на блюдечке не поднесет, Коля, за нее надо бороться с малых лет. А отец как, не перечит?

— Промолчал,— ответил Колька.

— И то ладно. Уж больно он у тебя крут.

— На него когда как наедет,— по-отцовски усмехнулся Колька.

— Тут дело не в наезде. Он видит, что у сына на груди кусочек красного знамени, под которым сам сражался за свободу, вспомнил, поди, былые годы, вот и промолчал. Боец он стойкий был, да не до конца понял свое место в жизни. Я, мол, себе свободу завоевал — теперь, как хочу, так и живу. А не видит, что кулачье трудовой народ угнетает. Эх, большевика, большевика нам грамотного надо! Он бы твоему отцу открыл глаза-то.

— Костя говорил, что будет в уездном комитете добиваться еще двух учителей для нас. А новые учителя — они все большевики,— сказал Колька.

— Вот и мы их ждем. Куда путь держите? — поинтересовался дядя Егор.

— К Петьке идем,— ответил Колька.

— А мне в кузницу надо. Жнитво на носу, жнейку налаживаем.

Он пошел своей дорогой, мы — своей. Когда про-

ходили по Ерофееву проулку, со двора из-за плетня нас окликнула Настя. Мы подошли к плетню. Настя боязливо огляделась по сторонам, быстро зашептала:

— Коля, я тебя что попрошу, ты сделаешь?

— Хоть в воду, хоть в огонь прыгну! — с готовностью отозвался Колька. Настя опять оглянулась: нет ли кого и, волнуясь, сказала:

— Передай Косте, чтобы он нынче, как смеркнется, пришел к той ветлине, где первый раз мы с ним по-встречались.

— Ладно, передам.

— Да чтобы никто не прознал об этом.

— Понимаю, не маленький.

Настя быстро отошла от плетня, мы тоже.

— Айда в народом, Костя там должен быть, — шепнул мне Колька.

Мы тут же отправились выполнять поручение.

Когда Колька отворил скрипучую входную дверь, к его ногам упала сложенная вчетверо записка.

Колька поднял ее, развернул.

— Глянь-ка, записка.

— Что в ней написано? — спрашиваю.

— Не разберешь... Как свинья хвостом виляла, — говорит Колька, потом начал по слогам читать:

«Ежели станешь ребят с девками мутить, ребятишек баламутить, то башку тебе набок свернем. Так и знай!»

— Это они Косте грозят.

В это время Костя громко из пионерской комнаты:

— Кто там?!

— Это я с Петькой, — тоже громко отозвался Колька.

— Входите смелее, чего вы там шепчетесь?

— Записку показать ему? — спрашивает Колька.

— Не надо, — говорю я.

Мы вошли в пионерскую комнату. Костя сидел за столом. Он рисовал плакат. Потом положил кисточку, быстро встал и поднял руку над головой:

— Будьте готовы!

— Всегда готовы! — дружно ответили мы, тоже вскинув руку. Пионеры теперь только так здоровались между собой.

Колька забыл, что у него в правой руке записка. Разжал кулак, она и упала на пол.

— Что это? — спросил Костя, поднимая с пола записку.

Мы переглянулись. Деваться было некуда, Колька сказал:

— Толстопузики тебе грозят.

Костя молча прочитал записку.

— Волков бояться — в лес не ходить.

Порвал ее на мелкие клочки и бросил в голландку.

— Ну, как жизнь? — весело обратился он к нам. —

По делу пришли или просто так?

— По сурьезному делу, — сдвинул Колька брови.

— Даже по сурьезному! Тогда выкладывайте скорее.

— Настя сказала, чтобы ты нынче в сумерках пришел к ветлине, где первый раз повстречал ее.

Костя так весь и просиял.

— Спасибо, ребята. Обязательно приду.

— Только, чтобы ни одна живая душа не прознала об этом, — наказал Колька, даже пальцем погрозил.

Костя улыбнулся.

— Это Настя так просила?

— Да.

— Будет исполнено. Вы-то, надеюсь, умеете язык за зубами держать.

— Умеем, об нас не сумлевайся, сам гляди не оп-

лошай,— еще раз наказал Колька, и мы ушли, чтобы не мешать Косте рисовать.

На улице Колька сказал мне:

— Надо дяде Егору про записку сказать. Тут дело не шутейное. Большевика-лавочника убили, теперь Костю стращать начинают.

— Идем,— говорю,— скажем.

В кузнице дяди Егора не оказалось, дома тоже не было. Он с тремя мужиками, с которыми сложился косить, лобогрейку около завозни налаживал.

Колька отозвал его в сторону, за стенку.

— Что за беда стряслась? — загудел дядя Егор.

— Тише ты басы,— нахмурился Колька,— толстопузики записку Косте подбросили, голову грозят свернуть ему!

— Так, так!.. А Костюшка-то знает про это? — засипел дядя Егор. Он мог только громко разговаривать, а шепотом у него не получалось.

— Знает.

— Ну и как?

— Говорит: «Волков бояться—в лес не ходить».

Дядя Егор обрадовался.

— Значит, не испугался? Стало быть, небоязливый. Рабочий класс робкого не пришлет. Только вот что, ребята, вы уже не маленькие, понимаете, чем тут дело пахнет. Глядите в оба, прислушивайтесь к разговорам... Ежели заметите что неладное, немедленно дайте знать мне. А я уже с Митей покалякаю. Пусть он с ребятами Костюшку под свою опеку возьмет. Поняли?

— А то как же.

— Вот и хорошо. А теперь ступайте.

Когда мы отошли от завозни, Колька говорит мне:

— Ужо будем с тобой Костю охранять.

— Как охранять? — не понял я.

— Обыкновенно. Я с одной стороны ветел, ты — с другой. Настя-то ведь от Фомки хоронится. По осени он жениться собирался на ней, а она теперь раздумала идти за него. Ей Костя по душе. Фомка теперь и бесится. Каждый вечер подсылает кого-нибудь из попенковой банды следить за ней: не встречается ли она с Костей. Только смотри, чтобы ни Костя, ни Настя не заметили тебя, а то подумают: мы подглядываем за ними. Костя осерчать может. Наше дело, чтобы им не помешал никто. А коли опасность нагрянет, упредить их или Митьку с мадьярами на помощь позвать. Уразумел?

— Чего же тут не понять? Когда выйдем на охрану?

— Как солнышко сядет, чтобы там быть.

На этом и порешили.

Перед закатом солнца я незаметно прокрался в Семеновы ветлы. Облюбовал себе на крохотной полянке местечко под кустом, неподалеку от той ветлины, где Настя будет Костю дожидаться, и сел там. Тропинка рядом. Кто пойдет по ней — сразу увижу. Кроме тропинки, через эту заросль нигде не пролезешь: густая очень. Не успело солнышко спуститься за гору, а Костя уже тут как тут, будто из-под земли вырос. Он прошел к ветлине и стал там ждать. Начало смеркаться, а Насти все нет. Стемнелось, а она все не идет. Косте, наверно, сделалось не по себе. Он принялся ходить по тропинке то туда, то сюда.

Взошел горбатый месяц, стало немножко светлее. Вдруг со стороны огородов зашуршали ветлы. Костя от ветлины метнулся в ту сторону, и в двух шагах от меня встретился с Настей. Они остановились друг против дружки.

— Настенька! Наконец-то!.. — обрадовался Костя.

— Заждался?

— Думал: не придешь.

— Отец только сейчас вышел из дома с мужиками покалякать.

— А разве он тебя на улицу не пускает?

— Нет,— тихо ответила Настя.

— Почему?

Настя молчала.

— Ты плачешь?! — удивился Костя.— Скажи, что случилось? — Он за плечи притянул ее к себе.

Она уткнулась ему в грудь лицом. Чуть слышно, с запинкой, сказала:

— У нас в-ворота дегтем в-вымазали... Срам на все село... Вот батюшка и разгневался на меня.

— Какая мерзость!.. Кто мог это сделать?

— Фомка, кто же, кроме него?

— Негодяй! И как ты могла проводить с ним время?

— А куда денешься? У нас так заведено: не пой-
дешь гулять с парнем — он изобьет тебя. И замуж
тоже: за кого просватают, с тем и живи. Мне еще под-
ружки завидуют: жених богатый, будешь жить с ним,
как барыня! Он ведь сам себе хозяин. Отец-то у него
хворый, не нынче-завтра помрет. А про то, что он по-
стылый мне, им и горя мало. Ой, что же мы стоим с
тобой? — спохватилась она.— В ногах правды нет. При-
сядем вот туточки на травку.

Они сошли с тропинки и сели под кусточком напро-
тив меня.

— Я поговорю с твоим отцом. Наши с тобой отно-
шения чистые. Он поймет это,— заговорил Костя,—
главное, чтобы ты любила меня.

— Да если бы ты не люб был мне, нешто я пошла
бы к тебе тайком на свидание?! — воскликнула Нас-
тя.— Но как же мы жить-то с тобой станем? У тебя ни
кола, ни двора, и у меня всего приданого, что на мне.

— Настенька! Для меня самое дорогое приданое — твое сердце! — с жаром сказал Костя. — Наше с тобой богатство — мы сами. Нам еще рано создавать семью. Мне едва минуло восемнадцать лет, а тебе нет и семнадцати. Нам сперва надо учиться. Вот создам я на селе крепкую комсомольскую организацию, подготовлю себе надежную замену, и мы поедем с тобой в город на учебу. Я стану инженером, а ты — певицей!

— Господи! Как послушаю твои речи — у меня, словно крылья отрастут. Дышать станет вольготнее, на душе посветлеет!.. А может это — все сказки? Поди, только одни красивые слова?

— За эти «сказки», Настя, революционеры на казнях гибли, в тюрьмах томились. Рабочие и крестьяне в гражданскую войну реки крови пролили, тысячи своих голов сложили. Дорогой ценой досталась нам наша родная Советская власть. А мы эту народную власть должны теперь укреплять, строить новую жизнь!

Тебе непременно надо вступить в комсомол, непременно! — воскликнул Костя.

Настя испуганно посмотрела на него.

А Костя все так же с жаром продолжал убеждать ее:

— Новую жизнь, Настенька, тебе никто на расписанном блюде не поднесет!.. За свое счастье надо бороться, надо своими руками, своей волей, своим умом создавать его!..

— Говорят: девушкам-комсомолкам курить надо будет. Это правда? — робко спросила Настя.

— Че-пу-ха! Я — мужчина, и то не курю.

— А еще говорят: косы надо будет непременно обрезать.

— Тоже ерунду говорят, чтобы только девушек запугать. Зачем обрезать такие замечательные волосы?

Костя взял в руку распушенный конец Настиной косы и ласково погладил его.

— Нравится? — игриво спросила она.

— Очень! — тут Костя поднес конец косы к своим губам и нежно поцеловал его.

Настя тихонько засмеялась. Потом приблизила свое лицо к лицу Кости. Губы их очутились совсем рядом...

Только теперь я спохватился, что не охраняю их, а вроде бы подсматриваю за ними. Это не дело.

Тихонечко-растихонечко, чтобы ни одна веточка подо мной не хрустнула, ни один листочек не шелохнулся, отполз в сторонку. Потом встал, все так же без шума отошел подальше. На маленькой плешинке опять уселся под ветлиной. Теперь мне стало и не видно и не слышно Костю с Настей. Зато сразу сделалось скучно.

«Зря, — думаю, — Колька затеял всю эту канитель. Никто их не думает искать. Кому больно надо?»

Кособокий месяц уже высоко вскарабкался на небушко и был теперь не багряный, а серебряный.

Меня начало клонить ко сну, я стал клевать носом. Но тут слышу чьи-то шаги. Я притаился за деревом.

Боязливо озираясь, на плешинку вышли попенок с хилым Федькой. Остановились.

— Нет их тут, — зашептал Федька.

— Поищем лучше. Фомка сказал: ежели найдете их, гривенник получите, — тоже шепотом ответил попенок, — а гривенник на дороге не валяется. Мы на него в лавке фунт пряников или конфет купим.

— Может, она дома посыпыхивает, а мы тут ла-

зим,— твердит свое Федька и все по сторонам башкой крутит.

— Фомка девку одну подсылал к ним. Говорит: до коров дома крутилась, а как за вечерело — куда-то улизнула.

— Может, они в другом месте...

— Фомка во все стороны наших ребят разослал. Только скорее всего тут они. Потому как близко ей: вышла на зады, по подсолнечникам прокралась и в ветлы. Ну, айда еще чуточку походим, вроде бы бездомовного теленочка ищем.

— Боязно,— признался Федька,— такая темь!.. Как бы на лешего не нарваться...

«Ну,— думаю,— если про лешего заговорили — самое время наступило их напугать». И так жалобно застонал, что у самого волосы дыбом встали.

— Слыхал? — попятился трусливый Федька.

— Чего? — насторожился и попенюк.

— С-стонет кто-то!.. О-опять...

— П-п-померещилось т-тебе,— начал тоже заикаться попенюк.

Тут я завизжал страшным голосом, как кошка, когда ей дверью хвост больно прищемят.

— Свят, свят,— забормотал попенюк.

— Чур меня, чур,— взмолился Федька. Они, на смерть перепуганные, задали невиданного стрекача. Но попенюк запутался в траве, упал.

В руках у меня была хворостина тонкая, гибкая. Я выскочил из-за дерева и давай его стегать по хребтинке, что есть силы.

— Карау-у-ул, спаси-и-ите-е-е! — завопил он истошным голосом.

А я щелкаю зубами, рычу:

— Р-р-р-ы, га-а-ам!..



Он вскочил на ноги и как полоумный понесся к себе. Я пульнул ему вдогонку ком земли.

Ко мне подбежали Костя с Настей. Они держались за руки.

— Что здесь случилось, кто кричал? — спрашивает меня Костя, и Настя: — Да не бойся ты...

— Попенок с дружкой вас разыскивали, а я их шуганул, — говорю ему.

— Но ты как здесь оказался?

Я не знал, что ему сказать. Тут появился Колька на выручку мне, говорит:

— Узнали, что Фомка послал их, вот мы и пошли за ними.

— И ты здесь?! — удивился Костя.

— Видишь, а спрашиваешь.

— Я говорила тебе, что Фомка выслеживает нас, — шепнула Настя.

— Вот это телохранители у меня! — покачал головой Костя. — Только вам давно пора домой, ребятки.

— Я тоже побегу, — говорит ему Настя, — батюшка не застанет меня дома, опять осерчает.

— До свидания, Настя! Спокойной ночи. А главное — ничего не бойся.

— Прощай, — сказала Настя и скрылась в кустах.

— Пошли, — скомандовал нам Костя.

— Надо незаметно разойтись, — говорит Колька.

— Пусть будет по-твоему, конспиратор, — улыбнулся Костя. — Исчезаю! Он сразу будто сквозь землю провалился. Мы с Колькой по высоким подсолнухам вышли к проулку, а на притихшей безлюдной улице разошлись всяк в свою сторону.

10

Как-то вскоре после этого случая я шел домой из коммуны: Петра Петровича бегал проведать, с ребятами повидаться.

Черноусый начальник не соврал: строительство в барской усадьбе началось еще с весны. А недавно приехали Петр Петрович с Анной Ивановной и новыми помощниками: воспитателем, завхозом, поваром и столяром, который будет учить ребят ремеслу.

Вместо нар в бараке поставили железные кровати с матрацами, подушками, одеялами и даже простынями.

Соорудили баню-прачечную, столовую-клуб, две классных комнаты, кухню и столярную мастерскую со всякой всячиной.

Петр Петрович козырем ходит и без конца носом шмыгает от радости.

— Коммуния наша теперь заживет на широкую ногу,— говорит дед Потап и важно расправляет бороду, будто он сам распорядился все это сделать, а не черноусый начальник.

Фруктов и ягод у него в этом году — деревья ломаются! Говорит:

— Вozами станем возить на продажу, благо лошадей свою заимели. И жить теперь будут в коммуне не пятьдесят, а целых сто человек!

Из прошлогодних ребят в коммуну вернулись только 28 человек, 19 ребят полюбовно наовсе взяли крестьяне, двое весной сбежали опять беспризорничать.

Андрюшка сказал мне:

— Я от тяти с маманей никуда не пойду. Вырасту большой — под старость буду их кормить, поить.

Зато от Славки тихий старичок сам отказался.

— Сладу с ним никакого нет,— жаловался Петру Петровичу.— Моченьки у нас со старухой не хватает... Это не дите, а наказание господнее. Что ни день, то новую беду учинит! И журили его и добром увещали — все как от стенки горох!

Петр Петрович не тужил, говорит:

— Скоро в коммуну привезут еще семьдесят ребят и беглецов верну тоже. И тогда состоится торжественное открытие коммуны.

Только я один не знал, что мне делать дальше? И в коммуну охота — ведь там будет так весело, интересно! И тятю с мамой жалко бросать: Груня прямо с ума сойдет без меня!

Да и в школу ходить далеко: в коммуне будут только первый, второй классы, а меня посадили в четвертый.

Иду, сам все думаю: как же мне теперь поступить?

Петр Петрович сказал:

— Решай сам.

А легко ли решить самому этакое важное дело?

День подходил к концу. Солнышко уже висело над Длинной горой. Чтобы сократить дорогу я пошел тропинкой вдоль кулацких садов. Вижу: навстречу мне идет отец. Он меня не заметил, потому что шел, голову повесив. Я хотел побежать ему навстречу, но тут из своего сада отца окликнул Тарас Нилыч.

— Проня, зайди-ка на часок, дельце есть к тебе.

Отец молча свернул в Тараса Нилычев проулок, пошел к дверце, которая была у самого дома.

Сад у Тараса Нилыча большой, весь огорожен штакетником. Может, я бы прошел мимо, но тут слышу: в саду Кузька-конокрад весело поет:

Зять на теще капусту возил,
Молоду жену в пристяжку заложил.
Ну-ка, ну-ка, ну-ка, теща моя!..
Тпру, стой, молодая жена.

— Уж не хочет ли Тарас Нилыч отца водкой угостить? — испугался я.

С того дня, как отец пьяным с базара приехал, он капли больше в рот не брал. Летом вьюги не бывает, и мама не боялась, что он пьяный напьется. Только с тех пор, как я стал пионером, мы заметили: он опять начал грустить, часто вздыхать.

Надо поглядеть, чего у них там в саду делается. Ежели пьянствуют, побегу скажу маме. Она уведет отца отсюда.

Со стороны огородов под штакетником была не-

большая канавка, по которой весной вода стекала. Теперь эта канавка была заложена сучкастым пеньком. Я отодвинул его и пролез в сад. Вдоль всей ограды росли высокие стройные тополя вперемежку с акацией. За ними длинный ряд кустов смородины, потом крыжовник, а посередине стояли яблони, груши.

В саду было все чисто, под метелочку.

Возле большой раскидистой яблони стоял врытый в землю стол с двумя скамейками. На столе бутылки, миски с закуской. За столом друг против друга сидели Тарас Нилыч и Кузька. Не успел я угнеститься между двумя кустами смородины, как к столу подошел отец.

— Здорово, кум! — весело сказал ему Кузька.

— Какой я тебе кум, — хмуро огрызнулся отец.

— Одно дело крестили! — хлопнул его по плечу конокрад и весело засмеялся. А глаза так и колют отца.

— Помолчи, Кузьма, — приказал Тарас Нилыч. Повернулся к отцу. — Присаживайся, гостем будешь.

Отец сел рядом с Кузькой.

— Что это ты, Проша, такой сумрачный, хмурый ходишь? — ласково спросил Тарас Нилыч.

Отец шумно вздохнул.

— Эх, Тарас Нилыч, погубил ты меня!..

— Вот тебе на-а-а! — развел руками богатеи. — Я его на ноги поставил, а он говорит: погубил! Ведь это народ думает, что я тебе лошадь-то в рассрочку продал, а я тебе ее — задарма отдал. На, живи! Пользуйся моей простотой!

— А дело-то потом пришлось какое сделать, — чуть слышно сказал отец. Голова низко опустилась на грудь.

— Дело-то забыть давно пора, — махнул рукой хозяин.



— Рад бы, да не забывается... Душу гложет, покоя не дает! — быстро заговорил отец. — Мальчишку взял из приюта, думал: в заботе о нем забудусь. И позаботился!.. На базаре осенью напился, меня и обчистили ловкачи. Парнишка всю зиму на печке просидел разутый, раздетый.

— А вот это не гоже, — с укором сказал Тарас Нилыч. — Коли усыновил мальчонка, так надо воспитывать. Обуть не во что? Пришел бы ко мне. Я осенью сваял девке валенки, они ей малы оказались. А ему в самый раз бы пришлись. И шубенка с шапчонкой нашлись бы.

Кузька слушал их с усмешкой. Потом сердито сказал:

— Кабы знатье, что ты такой слюнтяй — один бы справился! Только и всего, что помог оттащить. А то стоял в стороне да трясся, как овечий хвост!

— Ты, Проша, попу на исповеди покайся, он грех-то с души снимет, — ласково посоветовал Тарас Нилыч.

Отец отмахнулся.

— Попу — пустое дело. Перед миром, перед всем честным народом надо покаяться!

Тарас Нилыч аж за бороденку схватился.

— Во-о-он ты что-о-о задума-а-ал?! Так ведь это голову на плаху положить!

Отец опять шумно вздохнул.

— Все одно... так тоже не житье...

— И чего вы панихиду завели? — перебил их Кузька. — Водку пить надо, а то прокиснет, — засмеялся он.

— И впрямь разговор невеселый затеяли, — согласился Тарас Нилыч, — наливай.

Кузька начал разливать водку по стаканам.

Отец схватил стакан и жадно выпил водку.

Тарас Нилыч с Кузькой переглянулись. Потом Кузька, обняв отца, запел своим скрипучим голосом:

Полно, брат, чваниться: не девица,
Пе-е-ей, тоска пройдет,

И налил ему еще водки да все с шутками-прибаутками:

— Пьешь-не пьешь — все равно помрешь. Пей да похмеляйся — дольше проживешь!

Отец немного пожевал, потом встал.

— Куда ты? — испугался Тарас Нилыч.

— По малой нужде...

— А-а, иди вон туда за баню: тут чисто вокруг.

— Вижу, не слепой.

Как только отец отошел, Кузька навалился на стол, зашептал в лицо хозяина:

— Ведь он нас с тобой под монастырь может подвести.

— Ничего... Ты его уже отведи домой через переход, — спокойно сказал Тарас Нилыч.

Кузька отшатнулся от него.

— Через переход! — строго повторил Тарас Нилыч.

Немного они посидели молча.

— Водки маловато, — сказал, наконец, Кузька.

— Еще принесем, ежели мало, — погладил бороденку Тарас Нилыч.

Когда за яблонями показался отец, Кузька весело заговорил:

— Расскажу я вам, братцы, как с попадьей на базар ездил.

Тарас Нилыч засмеялся тоненьким голоском.

— Ну-у?! Неужто и до матушки добрался?

Кузька ослабил.

— А вот послушайте.

Я не стал слушать их похабщину. Осторожно отполз в сторону, подлез под изгородь, положил на место пенек и — был таков!

Тороплюсь домой, а сам все думаю: «Какое же дело отец с Кузькой сделал? И что значит: «под монастырь подвести?»»

Солнышко спустилось за гребень Длинной горы. Начало темнеть.

Мама дома не было, наверно, ушла корову встречать.

Снимаю с пробоя обманный замок, — он без ключа открывался, — захожу в сенцы. Там в углу моя постель. Лег на нее, стал ждать маму. Но за день я так намаялся, что незаметно уснул, да так крепко — никак не мог проснуться. Чужал: кто-то трясет меня, а веки никак не мог размежить.

— Петя, сынок, вставай, вставай скорее!.. — слышу мамин голос. Открываю глаза и не разберу: утро или вечер.

— Чего ты?

— Беда, беда у нас приключилась! — заголосила надо мной мама.

— Какая?

— Отец в речке утонул! Пьяный, наверно, шел через переход да и свалился в воду... О-ой, головушка моя горькая, осиротели мы с тобой!.. — запричитала она.

Сон с меня как рукой сняло. Быстро вскочил на ноги. Сразу вспомнил вчерашний разговор в саду. Только теперь понял: что значили слова Тараса Нилыча:

— Отведи через переход!

Меня начало знобить.

— Он не сам утонул. Это его Кузька-конокрад уто-

пил... Тарас Нилыч велел ему... Сейчас пойду все расскажу дяде Егору. Их арестуют.

Мама схватила меня за руку.

— Опомнись! Чего ты мелешь?!

— Не мелю!.. Я все слышал вчера, как из коммуны шел. Тарас Нилыч заманил отца в сад, споил его... Он боялся, что отец их с Кузькой под монастырь подведет... Пусти!

— Да кто тебе поверит несмысленному? Скажут, во сне приснилось глупому...

— Поверят... Дядя Егор догадливый, он все поймет... Да пусти ты!.. — Но мама вцепилась в меня обеими руками.

— Не пущу!.. Только беды накликаешь...

Она начала целовать меня в лицо, голову.

— Милый, расслабься ты мой, никуда не ходи, никому не говори!.. Никто не поверит тебе... Свидетелей нет у тебя, а нам с тобой несдобровать. Кузька-то — он ведь разбойник!.. Придет ночью, стукнет обухом по голове — и дело с концом, а то подожжет... пойдём по миру с сумой... Христом-богом прошу! На колени встану — не ходи...

Слезы у нее ручьем текли по лицу. Она глотала их, торопливо уговаривала меня:

— Отца все равно не воскресишь, а себя погубишь... Проживем одни... Я в работе тягучая, мужику не уступлю, а через годик-другой ты начнешь подсоблять... Не ходи... Убьет нас Кузька!..

Мне уже начало чудиться, как темной ночью Кузька крадется к нашей избе с топором в руках. Глаза его в темноте светятся, как у кошки, а рот с подстриженными усами смеется... Вижу, как он бьет маму обухом по голове!.. Мне стало страшно и жалко маму до слез.

— Не плачь... Никому я не скажу. А что ты меня вчера не разбудила?! Ведь я за тобой приходил.

— Нешто я знала,— оправдывалась мама,— ты так сладко спал, жалко мне было будить тебя. Сама-то я ночью всю деревню обегала, искала его,— слезы у нее все бегут и бегут. Она их вытирала кончиком платка.

— Где тятя-то?

— Сейчас привезут его...— и опять залилась слезами.

Теперь я знал наверняка: от мамы никуда не уйду.

...На другой день мы похоронили отца. Никогда я так горько не плакал, как на его могиле.

11

Уже две недели, как Кости нет в деревне: он уехал в уездный комитет комсомола.

За это время кончилась жатва. Мужики начали возить с полей на гумна снопы и розвязь.

Богатеи вызвякивали на бричках, бедняки скрипели на рыдванках.

Колька все жнитво был в поле, на лобогрейке лошадей погонял. Потом на бричке стал с отцом снопы возить. А я домовничал. Был бы отец жив, я бы с ним тоже в поле поработал, а теперь только и радости, что книжки с утра до вечера читать, которые мне Костя дал. Из города он обещал еще привезти много книжек.

Грамматику за третий класс я уже знал назубок, задачки с примерами тоже все порешал, а за четвертый класс учительница мне не велела ничего делать, а то, говорит, скучно потом будет на уроках сидеть.

В селе был престольный праздник, никто не работал, все ходили нарядные, веселые, а я весь день не мог оторваться от книжки под названием «Сказки А. С. Пушкина».

Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах...—

читал я, позабыв про все на свете, но тут меня позвала мама.

— Петя, сбегай, милый, в Антошкины ветлы, поищи там нашего теленочка. Пастух сказывал: он туда убежал. А то уж ночь на дворе, как бы на него волки не напали.

Я закрыл книжку и отнес ее в избу. Потом, взяв хворостинку, побежал через гумны в Антошкины ветлы искать блудного теленка. Ветлы эти с закатной стороны села тянулись по оврагу на целую версту от реки до плотины.

Лазил, лазил я по ним до тех пор, пока темь наступила, хоть глаз коли. Из конца в конец все ветлы прошел, а теленка так и не нашел. Разве в такой тьме кромешной увидишь черного телка?

Слышу: подвода в село едет. «Может,— думаю,— прицеплюсь незаметно сзади и доеду до села». Встал у дороги за дерево и жду. Тут было немножко светлее, потому что звезды светили, вечерняя заря виднелась. Только услышал: лошадь больно часто копытами цокает и колеса мягко шуршат. «Наверно, какой-то богатеи на рысаке мчится,— решил я,— пролетит мимо — прицепиться не успеешь».

Но когда путник въехал в ветлы, он перевел лошадь на шаг. Все богатеи так делают: перед въездом в село дадут коню немножко передохнуть, а потом по

улице с ветерком пронесутся. Пускай все видят, какие резвые у них рысаки.

Глядь: сам Тарас Нилыч едет на своем знаменитом Победоносце. Резвее этого рысака во всем уезде не сыскать! Упряжь на нем дорогая, медяшками окована, тарантас рессорный с жестяными крыльями на задних колесах. Кузов с высокой плетеной спинкой. Щупленького Тараса Нилыча и не видеть за ней.

Как только он проехал мимо меня, я скоренько выскочил из-за дерева, схватился руками за рессоры и сел на ось между крыльями. За высокой спинкой меня было незаметно.

От ветел до крайней избы сажен двести, не больше. Слышу: Тарас Нилыч губами зачмокал, значит, въезжаем в улицу. Победоносец так мчался, что я на выбоинах все печенки себе отбил.

Слышу: навстречу нам песню горланят:

Быва-а-али дни весе-о-о-о-лые,
Гулял я, молодец.
Не зна-а-ал тоски-кручи-и-и-нушки,
Как вольный удале-е-е-ец.

Тарас Нилыч резко осадил жеребца.

— Пьянствуете, ухари-разбойники?

— Так ведь праздник же, Тарас Нилыч!.. Это голодранцы пускай квас дуют, а нам и винцом не грех побаловаться,— отвечает веселый Фомка,— а тебя откуда бог несет?

— В волость ездил. Делишки были. Между прочим, под Длинной горой обогнал этого... комсомольца. Может, встретишь его в Антошкиных ветлах, потолкуешь с ним?

— И встречу, и потолкую!.. — зачем-то хлопнул себя по хромовому голенищу Фомка и к друзьям: — Встретим?



— Встретим!— в один голос согласились двое ребят.

— Вот я тоже думаю: надо сказать парню. Шуточное ли дело — невесту отбил. На все село опозорил! Ты с ним и потолкуй с глазу на глаз. Так, мол, и так, отступись. Тебе — баловство, а мне она в жены нужна.

— Не учи ученого, сам знаю, что ему сказать!..

— Только поспешайте: он ходко идет.

— Успеем! — гаркнул в ответ Фомка.

Тарас Нилыч тронул жеребца крупной рысью. Как только мы немного отъехали и свернули за угол, я спрыгнул.

«Наконец-то Костя вернулся!— обрадовался я.— Только эти пьяные морды как бы не поколотили его. Надо скорее Кольке сказать».

До их дома рукой подать. Побежал к ним. Мать говорит:

— Он за теленочком ушел к Ерофеевым на зады.

Выскочил на улицу. Увидел: из Ерофеева проулка Колька гонит пестрого теленка.

Крикнул ему:

— Колька, айда сюда скорее!

Колька раза два стегнул теленка хворостиной. Тот задрал хвост крючком и галопом поскакал к своему дому.

Колька подлетел ко мне.

— Чего звал?

— Костя со станции идет, а Фомка с двумя типами хотят его в Антошкиных ветлах встретить. Могут побить.

— А Костя-то далеко еще?

— Тарас Нилыч у Длинной горы обогнал его.

— Успеем. За мной!

...Антошкины ветлы мы пересекли у самой речки. За ними тянулась не очень широкая, но длинная луговина.

— У Сухой балки встретим его,— шепнул мне Колька.

Мы побежали наискось луговины.

Луговина залегла между Антошкиными ветлами и Сухой балкой. Только ветлы у пруда кончались, а балка тянулась дальше за холмы. В половодье по ней вся вода с гор стекала в речку, а летом она пересыхала. Бока и дно балки поросли кустарником, мелкими деревьями.

Мы выбежали на дорогу как раз в том месте, где она опускалась в крутобокую балку. Остановились. Услышали по ту сторону балки Костин голос. Костя шел и пел свою любимую песню:

...И боец молодой вдруг поник головой:
Комсомольское сердце пробито...

— Пойдем к нему навстречу,—предложил Колька.

— Давай лучше здесь подождем.

Он согласился.

— Здесь, так здесь. Садись вот под этот кустик.
Мы сели.

— Сейчас проведем Костю стороной, а Фомка
опять в дураках останется, как прошлый раз,—за-
смеялся Колька.

Взошел полный месяц. Сразу стало светлее.
На той стороне оврага показался Костя.

...Уж ты, конь вороной, передай, дорогой,
Что я честно погиб за рабочих.

Когда он дошел до середины балки, перед ним, не-
жданно-негаданно, появился Фомка со своей братией.
Будто с неба прыгнули.

Колька аж зубами заскрипел на меня:

— Ты же говорил: они в Антошкиных ветлах?!

Я до того опешил, что слов не найду в свое оправ-
дание.

— Беги за мадьярами! — скомандовал Колька.

— А ты?

— Я тут останусь.

— Тогда я тоже не уйду.

Колька сильно потрянул меня за плечи и, злясь,
сквозь зубы приказал:

— Пионер, за дело Ленина будь готов!

Я ответил:

— Всегда готов!

А на дне балки шел свой разговор:

— Здорово, «боец молодой»!..— с насмешкой
сказал Фомка.

— Чего надо?

— Покаякать хочу...

— Мне с тобой говорить не о чем.

— Как это не о чем? Отбил у меня девку и ладно?

— А ну прочь с дороги, пьяная рожа!

— Ты полегче командывай, тут тебе не нардом...

Но я уже вскочил на ноги и что есть духу понесся в село. Когда подбежал к Антошкиным ветлам, услышал Колькин боевой клич:

— Бей толстопузиков!

Значит, в балке началась драка, и Колька бросился на помощь своему вожатому. Тогда я наддал еще сильнее. Через ветлы пулей пролетел, только холодком они на меня дыхнули.

«Быстрей, быстрей!» — торопил я себя.

Вот и крайний дом на бугре. Остановливаюсь. Улица спускалась вниз и видна была до самого поворота.

Я запыхался. Внутри у меня все горело. Грудь ходуном ходила, сердце того и гляди выскочит.

А село веселилось. На улице тренькала балалайка, пели девчата, смеялись ребята. Больше всего людей виднелось около Антипкиной завозни. Бежать туда далеко. Тогда я закричал не своим голосом:

— Эй, мадьяры, айдате сюда скорее, скорее!.. Где вы, мадьяры?!

— Ты чего орешь?! — совсем рядом слышу отрывистый Митькин голос.

От неожиданности я вздрогнул, оглянулся. В десяти шагах от меня Митька сидел со своей барышней на лавочке в тени палисадника.

Я метнулся к нему:

— Фомка со своей бандой Костю бьют!

Митька мигом вскочил на ноги.

— Где?!

— На дороге в Сухой балке!

Митька пронзительно свистнул в сторону улицы. Потом приложил ладони трубочкой ко рту и зычно выкрикнул свой боевой призыв:

— Ко-о мне-е-е, мадья-ары-ы-ы!

Тут же из палисадника другого дома неподалеку четко отозвался молодой голос:

— Есть мадьяры!

— Есть, есть мадьяры! — сразу два голоса откликнулись от завозни. И еще откуда-то чуть слышно донеслось:

— Есть мадья-а-ары-ы-ы!..

А Митька уже стремглав неся к Сухой балке. Быстрее его никто на свете не бегал.

Побежал за ним и я. Меня тут же обогнал парень, который первым отозвался из палисадника. Он тоже мчался быстро.

А Митька уже за Антошкиными ветлами протяжно крикнул:

— Держи-и-ись, Костя-а-а!..

Тогда я тоже прокричал:

— Коля-а-а, держи-и-ись!.. Мы бежи-и-м к ва-а-ам!..

На луговине меня перегнали еще двое ребят.

Фу-у-у, вот и балка! На дне ее суетились мадьяры. Вижу: Колька лежит на траве. Я кинулся к нему и начал тормошить его:

— Коля, Коля, вставай! А-а-а!!! Убили!.. Сволочи, бандиты, Колю зарезали!..

Я упал на него, целовал ему окровавленную грудь, кричал, звал его:

— Коля, милый мой Коля, друг!.. А-а-а-а...

Откуда-то издалика слышался Митькин голос:

— Костя еще дышит. Ванька, мотай домой, запря-



гай лошады! Мчись во весь опор в волость за фельдшером! Гринька, а ты бей всполох! Поднимай все село. Мы их найдем. Мы из них потроха-то вытряхнем!

Потом передо мной все померкло. Я упал ничком на землю и уже больше ничего-ничего не слышал.

12

В ту же ночь преступника Фомку с двумя сообщниками поймали, посадили в каталажку и приставили стражу.

На другой день Костя умер. Фельдшер ничего не мог поделать. Перед смертью Костя пришел в себя. Он торопливо дышал и все спрашивал одно и то же: — Коля жив?.. Коля жив?..

Потом побледнел, вытянулся, чуть слышно прошептал:

— Настень... —и не закончил.

На третий день дядя Егор повел меня с собой в сельсовет.

Там за большим столом, покрытым кумачом, сидели люди. Я знал только одного председателя сельсовета.

Дядя Егор подбадривал меня:

— Не бойся, Петя. Тут все люди свои. Это вот следователь,—указал он на мужчину в пенсне с гладко причесанными волосами, а это вот новый учитель-большевик, Семен Григорьевич, и его жена, Елена Васильевна, тоже учительница и тоже большевичка. По Костиной просьбе прислали их к нам,—голос у него задрожал, кадык часто запрыгал, он кашлянул.— Расскажи нам без утайки все, что знаешь по делу злодейского убийства твоих верных друзей.

И я поведал им всю эту историю от начала до кон-

ца. Они слушали, не проронив ни слова. Следовательно все писал, писал...

— А еще я знаю вот что...

И тут передал им то, что слышал в саду у Тараса Нилыча.

— Я же все время говорил: большевика кулаки убили! — загремел басом дядя Егор. — А теперь точно стало известно, кто это сделал.

Только тут я понял все! Понял и опешил. Большевика убил Кузька, а Прошка был с ним. «Только и всего, что помог оттащить. А то стоял в стороне да трясся, как овечий хвост!» — сверлили мне уши Кузькины слова, сказанные им в саду. Вот почему отец постоянно так страдал, мучился в пургу, так боялся ножа. Пурга и нож напоминали ему то страшное дело в метельную ночь.

Костю с Колей хоронили на четвертый день. Таких похорон в селе никогда не бывало: ни попа с кадилом, ни креста, ни колокольного погребального перезвона.

Впереди шел Митя. Перед собой он нес красное знамя с большой черной лентой. Следом за ним два его преданных друга несли памятник: суживающийся граненый дубовый столб с жестяной пятиконечной звездой на шпиле.

Потом восемь молодых ребят-мадьяр несли рядом два гроба, покрытых красным материалом с черной полосой по краям.

За гробами шли мы, пионеры. У каждого алый галстук на шее и черная повязка на левом рукаве, ее мы не должны снимать целый месяц.

За нами шли большевики, а уж потом народ со всего села. И мал и стар вышли провожать в последний путь Костю с Колей.

Было до того тихо, что становилось жутко. Только слышалось медленное шарканье — от этого было еще тоскливее.

Слева от меня тихо плакала в платочек Таня, справа всхлипывал Андрюшка и тер кулаками опухшие от слез глаза.

Меня тоже душили слезы, ныло и щемило в груди, разрывалось на куски сердце от великого горя.

Но я знал: если мои слезы прорвутся наружу, то я опять заплачу так, как плакал в Сухой балке: с криком и проклятьем.

А Коля не любил плакс. Чтобы как-нибудь перебороть свои слезы, я нечаянно вслух запел любимую Колину песню. И не запел, а только сквозь сжатые зубы громко произносил слова:

— Мы шли... под грохот... канонады!..

Таня с ужасом уставила на меня свои заплаканные глаза.

Андрюшка испуганно ткнул меня в бок.

Но тут за спиной я услышал голос Елены Васильевны:

Мы сме-е-ерти смотре-е-ели в лицо.

К ней присоединились Семен Григорьевич, Петр Петрович и другие взрослые коммунары.

Тогда Таня, Андрюшка, Славка тоже запели:

Вперед продвигались отряды
Спартаконцев, смелых бойцов!

Песню подхватили все Колины друзья. Но пели мы не бодро, не как марш, а протяжно и скорбно.

С песней о юном барабанщике мы вошли на кладбище.

Как-то само собой получилось, что мы, четверо пионеров и четверо большевиков, оказались по одну сторону могилы, а весь народ — по другую.

В стороне от всех встали человек десять охотников с ружьями, которых дядя Егор созвал.

Семен Григорьевич поднялся на бугорок свежерытой земли, оглядел народ. Он был высокий и подтянутый. На нем военная гимнастерка с ремнем через плечо, синие галифе под хромовые сапоги. Глаза у него серые, строгие.

Он поправил длинные волосы и сказал:

— Товарищи! Всего несколько дней назад я встретил в уездном городе веселого, жизнерадостного комсомольца Константина Павлова. И вот он злодейски убит. Вместе с ним погиб первый пионер села, Коля Казаков. Кое-кто пытается изобразить дело так, будто эти юноши стали жертвой пьяных хулиганов. Но мы знаем, кто направлял руку убийц, и им не уйти от ответственности за все свои злодеяния! Только знайте, что в этом преступлении есть доля вашей вины. Как вы могли допустить такое?! Враги не посмели бы их пальцем тронуть, если бы в таком большом селе было не пять пионеров, а сто! Не два коммуниста, а двадцать! Комсомольцев же у вас нет ни одного.

Не знаю, что бы он стал еще говорить, но тут Настя Ерофеева, тряхнув головой, на весь люд громко заявила:

— Я вступаю в комсомол! — и перешла на нашу сторону.

Народ загудел. От этого гула хмурый Митя встрепенулся, торопливо выкрикнул:

— Я, я тоже вступаю в комсомол! — и тоже перешел на другую сторону могилы, а за ним молча, без

всяких слов, перешли и встали рядом его верные друзья-мадяры.

Дядя Никита стоял над гробом сына. Пальцы у него то сжимались в кулак, то опять разжимались. Он не плакал. Он почернел от горя. Глаза у него ввалились, да в одночасье прядь белых волос на голове появилась.

— Бороться, так бороться по-буденовски, до полной победы! — вымолвил он. Посмотрел страшно на всех и перешел к нам. Если бы ему дать в это время вострую шашку в руки, он бы и Фомку и всех кулаков на селе в мелкую капусту изрубил.

Следом за ним из толпы вышли дядя Ваня, еще четверо бывших красногвардейцев.

Неожиданно все услышали Васькин крик.

— Пусти!.. Не боюсь я тебя!.. Никого не боюсь! Кольку-то убили... Все из-за вас проклятых!..

Тетка цепко держала его за худенькую руку и что-то сердито шипела на него. Он вырвался от нее, побежал ко мне, весь дрожа от волнения.

Семен Григорьевич сказал всем:

— Кто усыновил ребят из детского дома, не должны им запрещать вступать в пионеры.

Ребята-коммунары будто только этого и ждали — сразу хлынули к нам со всех сторон. Вместе с ними были одноглазый Степка и много других сельских ребят.

— Спите вечным сном, дорогие наши товарищи Константин и Николай! Дело, за которое вы погибли, продолжают ваши друзья!

Гробы накрыли крышками, заколотили гвоздями. Потом на веревках стали медленно спускать гробы в могилу.

И заплакали, запричитали бабы. Обезумевшая Колина мать порывалась кинуться в могилу за сыном. Ее под руки отвели в сторону. Она вздох по-дикому выкрикивала только:

— Ыий!.. Ыий!.. Ыий!..

Вы жертвою пали в борьбе роковой...

Запела Елена Васильевна.

Все, кто знал похоронный марш, подхватили его.

Грянул ружейный залп.

Мы бросили в могилу по горсточке земли. Четверо мужиков быстро начали засыпать могилу лопатами.

...Порой изнуляли по тюрьмам сырым...—

печально звучали голоса.

Раздался второй залп.

На могиле вырос холмик и поставили памятник с надписью.

Гулко ахнул последний, третий, залп.

Народ врассыпную повалил с могилок. Остались те, кто решил записаться в пионеры, вступить в комсомол и стать большевиками.

Семен Григорьевич построил нас в колонну по четыре, скомандовал:

— Шаго-о-ом марш!

Мы строем двинулись к селу. Теперь Митя держал красное знамя высоко над головой. Нас было много, нам уступали дорогу. Когда мы вошли в село, Елена Васильевна бодро запела:

Смело, товарищи, в ногу...

И разом все грянули:

Духом окрепнем в борьбе!
В царство свободы дорогу...—

гудел басом дядя Егор так, что земля под ногами
дрожала.

Грудью проложим себе! —

звенел на весь белый свет Настин голос.

И мне казалось, что Костя с Колей идут в наших
рядах и поют вместе с нами.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ШИЛОВ АЛЕКСЕЙ ЕФРЕМОВИЧ

МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ.

(Повесть). Челябинск, Южно-Уральское кн. изд.,
1971.

126 с. с илл. Р2

Редактор Р. М. Ушеренко

Художник-редактор А. В. Гилев

Техн. редактор О. Я. Понятовская

Корректоры С. А. Кулакова и Р. М. Цветкова

Сдано в набор 1/VII-1970 г. Подписа-
но к печати 2/X-1970 г. ФБ12842.
Формат бумаги 70×108/32 — 4 физ. п.
л., 5,6 усл. п. л., 5,04 уч.-изд. л. Тираж
100 000 экз. Бумага № 2. Изд. № 2864.

Южно-Уральское книжное издатель-
ство, г. Челябинск, пл. Революции, 2.
Областная типография Челяб. обл.
управления по печати, г. Челябинск,
ул. Творческая, 127. Заказ № 1862.

Цена 16 коп.

16 к.

